

ISSN 0130-7673

НОВЫЙ МИР

НОВЫЙ
МИР

2000

9

2000

СОДЕРЖАНИЕ

ВЛАДИМИР КОРНИЛОВ — Колкий дождь, стихи	7
ЛЮДМИЛА УЛИЦКАЯ — Путешествие в седьмую сторону света, роман. Окончание	11
МАРИНА КУДИМОВА — Утюг. Характеристика	105
АЛЕКСАНДР СОЛЖЕНИЦЫН — Угодило зёрнышко промеж двух жерновов. Очерки изгнания. Часть вторая (1979 — 1982)	112

ИЗ НАСЛЕДИЯ

АЛЕКСЕЙ ЛОСЕВ — Жизнь без конца, стихи. Публикация А. А. Тахо-Годи. Вступительная статья Елены Тахо-Годи	184
--	-----

ПО ХОДУ ДЕЛА

ЮРИЙ КАГРАМАНОВ — Бегство вперед?	187
-----------------------------------	-----

ПОЛЕМИКА

НАТАЛЬЯ ИВАНОВА — Подстановка. Лев Николаевич и Александр Семенович	192
---	-----

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Борьба за стиль

МИХАИЛ ЭПШТЕЙН — Слово как произведение: о жанре одно- словия	204
--	-----

РЕЦЕНЗИИ. ОБЗОРЫ

Александр Гаврилов. Смерть под языком, или Комиссарские записки	216
Елена Касаткина. Неосуществимая истина	222
Юрий Кублановский. При свете совести	224
В. К. Апофеоз Августа	227

(См. на обороте)

СОДЕРЖАНИЕ (окончание)

КНИЖНАЯ ПОЛКА

ПОЛКА АЛЕКСАНДРА НОСОВА 230

БИБЛИОГРАФИЯ

Книги (составитель Сергей Костырко)	238
Периодика (составитель Андрей Василевский)	241
Сетевая литература (составитель Сергей Костырко)	248
SUMMARY	256

Уважаемые работники библиотек!

С января 2001 года прекращается бесплатная рассылка журнала «Новый мир» для библиотек Российской Федерации, которую на протяжении последних лет осуществлял Институт «Открытое общество» (Фонд Сороса).

У многих наших постоянных читателей — и они пишут нам об этом — давно уже нет средств на индивидуальную подписку, а редакция не имеет возможности рассылать журнал на бесплатной, благотворительной основе.

Поэтому мы просим вас, библиотечных работников России, заранее оформить подписку на «Новый мир» на первую половину 2001 года!

Из общего тиража каждого номера институт «Открытое общество» выкупает и безвозмездно направляет в библиотеки России и ряда стран СНГ 3850 экземпляров журнала «Новый мир».

АЛЕКСАНДР СОЛЖЕНИЦЫН

*

УГОДИЛО ЗЁРНЫШКО ПРОМЕЖ ДВУХ ЖЕРНОВОВ

Очерки изгнания

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

(1979 — 1982)

Глава 6

РУССКАЯ БОЛЬ

В уединении ты счастлив, ты — поэт! —

узнал Пушкин, сравнив свои творческие периоды одиночества и суеты света.

И я — предчувствовал с детства так. И узнал это счастливое одиночество в коктерекской ссылке — и как же, искренно, щемило мне уезжать оттуда в круговороте возникших реабилитаций. В июне 1956 я покинул свою благоданную ссылку — и только через 20 лет, в июне 1976, и почти дата в дату, добрался до желанного вольного уединения, теперь в Вермонте. И с первого же дня накинудся на проступивший мне столыпинский том «Августа», потом на необъятный «Март», — да вот за годы и не отрывался ни на день, разве на гарвардский.

И не переставал удивляться и благодарить: и поставил же Господь меня в положение — лучшее, о каком может мечтать писатель, и лучшее из худших, какое может состроиться при погубленной нашей истории и при стране, угнетённой уже по-за 60 лет.

Вот — я имел теперь свободу ничего не шифровать, не прятать, не рассказывать по друзьям, но держать открыто, соединённо все материалы и все рукописи на просторных столах.

И — я мог получить из библиотек любой нужный мне источник. Да ведь ещё ранее того, ещё в первую цюрихскую суету старые русские эмигранты слали мне и без просьбы моей — все необходимые книги. Я получил их в свою библиотеку прежде, чем узнал список нужного мне, — и почти всё оказалось вот у меня. А лучшее хранилище по истории революции, Гуверовский институт, где из старых газет выступило передо мной и убийство Столыпина (заножавшее загадкой ещё мою юность), и всё огромное здание «Марта», — Гувер всё звал меня приезжать и работать дальше, слал мне ксерокопии материалов чуть не пудами, а стараниями Е. А. Пашиной ещё добавились и микрофильмы всех петербургских газет революции, бесценный подарок.

© А. Солженицын.

Первая часть автобиографической книги Александра Солженицына «Угодило зёрнышко промеж двух жерновов» напечатана в «Новом мире» в № 9, 11 за 1998 и № 2 за 1999 год.

А ещё же — сколько наслали мне воспоминаний уцелевшие старики, современники революции. Из последних сил, из последнего зрения, иногда последними движениями старческого пера, в свои 85 — 89 лет, в отзыв мне, они описывали кто полную свою жизнь, кто — уникальные революционные случаи, которых нигде бы не найти, — воспоминания, свои или умерших родственников, обречённые погибнуть, — вот уже более трёхсот, и всё шлют. Сперва этот наплыв принимала Аля — и отвечала старикам-авторам, и просматривала, читала, отбирала для меня возможно нужные ближайшие кусочки. Мне же первой предстояло отбирать свидетельства о Гулаге, для последней редакции «Архипелага», — и таких свидетелей, к прежним советским, добавилось ещё три десятка. Наконец с осени 1980 мог я сесть за воспоминания только революционные. Умиравшая эмиграция своим последним выдохом послала мне помогательную волну. Связь времён, кроваво разорванная большевиками, — чудесно, неожиданно соединилась в уходящий последний возможный момент. (Многие, кого успел и лично узнать, умерли на моей памяти, уже за эти годы. Стали мы звать отца Андрея служить в ночь под старый Новый год в нашей домово́й церковке панихиду по всем им, кто скончался в минувший год. Мальчи́кам рассказывали о каждом: кто он, что пережил.)

Но ещё ж и укрепил меня Господь тем, что, живя на Западе, я мог быть независим от изводящего и унижительного кружения в чужеземной среде: мне не надо было искать средств на жизнь. И я никогда не интересовался, придутся ли мои книги по вкусу западной публике, «будут ли их покупать». Я привык в СССР почти ничего не зарабатывать, но почти ничего и не тратить. Увы, на Западе так нельзя, да ещё с семьёй. И не сразу я понял, как огромен посланный мне дар ещё и обеспеченности — а потому полнейшей независимости. Я оказался беспрепятственно и наедине со своей достигнутой работой, писал книги — без малейшей оглядки. Независимость! — это шире и действенней, чем только одна свобода. Без неё — не выполнить бы мне свою задачу. А так — западная жизнь протекала в стороне от меня, не задевая рабочего ритма. И безвозвратно уходило время только в том, что безвозвратно изнурялась моя родина.

А сам на себе — я будто не испытывал хода времени: вот уже третью тысячу дней по единому распорядку, всегда в глубокой тишине, о которой истерзанно мечтал всю советскую жизнь, без телефона в рабочем доме, без телевизора, всегда в чистом воздухе (по швейцарскому обычаю — открыты окна в спальне и в мороз), на здоровой пище американской провинции, ни разу не обратясь по-серьёзному к врачам, в 63 года ныряя головою в ледяной пруд, — я и сегодня как будто не старше тех 57 лет, с которыми сюда приехал, а то и куда моложе. И скорее чувствую себя ровесником не своим сверстником, а 40 — 45-летним, да вот — жене своей, как будто с ними весь будущий путь до конца. Ну только, может, не бывает *лавинных* дней, когда вдохновение сшибает с ног, только успевай записывать картины, фразы, идеи. Но даже то молодое чувство испытываю к 64 годам, что ещё не окончен мой *рост* — ни в искусстве, ни в мысли.

Полгода упиваюсь работой в просторном высоком «стрельчатом» кабинете, правда зимою холодном, — с большими окнами, с люками в крыше, с обширными столами для раскладки множества мелких выписок. А на летние полгода переезжаю в домик у пруда, и от этой смены рабочего места — какой-то ещё новый прилив рабочих сил, ещё что-то вливается, какая-то новая ёмкость в душе. (Это чувство и у Али: «молодеем здесь».) Тут природа настолько плотно окружает, что превращается и в бедствие: бурундучки шныряют под ногами сразу по нескольку, в траве порой проскальзывают гадючки, под полом дома шурушит и вздыхает енот; что ни заря — белки бомбят железную крышу срезанными шишками, а крылатые (как летучие мыши) серые белки зимой поселяются на чердаке большого дома и устраивают возню в разное время суток. Но кого я ласково люблю — это койотов: зимой они часто бродят по нашему

участку, подходят и к самому дому и издают свой несравнимый сложный зов: изобразить его не берусь, а — очень люблю.

Однако все эти шумки и звуки только выявляют нашу «удивительную, упоительную, сосредоточенную тишину», как однажды записала Аля. Она углубляется в работу с такой же страстью, как и я: «только бы не помешали!» Не миг, но быстро и уверенно она освоилась и устоялась с непривычным бытом жизни не городской, как всегда вела, а на лесном отшибе: свои особенности, потребности, задачи и границы возможного.

Нам с Алей легко разговаривать: понимаем в четверть-слова, или даже только по малому движению, по выражению лица, и без траты слов на очевидности, на повторы. А что говорится — то движет вперёд, что-то новое добавляет, или причину задуматься.

Оглядываясь, не могу не признать минувшие шесть лет в Пяти Ручьях — самыми счастливыми в моей жизни. Налетали западные неприятности — и проходили побочной пеной. Как раз в эти годы развился громкий лай на меня — но не испортил мне ни одного рабочего дня, да я его и не замечал, по пословичному назиданию: в ино время не думай, не знай, что люди говорят. А те ругательства, те журналы я только складывал стопкой на полку, и годами не читал, доселе, — лишь вот для «Зёрнышка» думаю впервые прочесть, чтобы заодно и поспорить, экономия времени.

Когда углублён в неповторимый труд — других задач не знаешь, не воспринимаешь. В разные годы за это время ставились мои пьесы — в Германии, Дании, Англии, Штатах, приглашали меня на премьеры, — никогда не ездил. А уж разные сходки, встречи — мне дико, как бесплодно кружатся там, в нью-йоркском или парижском смерче; а им — дико такое гробокопательное чудачество, уйти от мира. Некоторые американские литературные критики, мера по себе, судили, что это «хорошо организованная реклама». (Критики! — им и не в толк, в чём работа писателя? Уединиться для работы мечтает каждый, кому есть что сказать. Говорят, тут в Вермонте, и рядом, умные так и делают — Роберт Пенн Уоррен, Сэлинджер. Здесь же когда-то десять лет прожил Киплинг. Вот если б я ездил по всем приглашениям и выступал — вот это была бы самореклама.)

Но за выбранное мною лесное уединение дети платили свою цену.

Старшему Мите и так уже досталось два года вживаться в швейцарскую школу и жизнь — вдруг перенёсся в фермерский американский штат, учи заново и язык, и заново завоевывай себе авторитет среди сверстников (правда, уже намного превосходя их жизненным опытом, и при мобильности характера, резкой удивительности и широте поступков, он быстро вызвал у них любовь и даже почитание). И опять же — езжай в хорошую дальнюю школу, где новые порядки, потом в Бостонский университет, на отделение инженер-механиков (с детства влюблён в моторы). И после первого же там семестра попадает с сокурсниками в автомобильную аварию: повреждены глазной и лицевой нерв, ухо, да сама жизнь была под угрозой, десять дней и ночей Аля просидела около него в бостонском госпитале. Спустя полгода лицевой нерв восстановился, а природное митино здоровье и жизнелюбие помогли ему вернуться к безущербной активности. Но после этой аварии у Али долго сохранялся страх, ожидание какой-то внезапной новой беды.

А малыши первые годы росли на нашем участке как в русском заповеднике, Аля торопилась напоить их, до выхода в американскую среду, русским языком, ежедневно читала им вслух, они рано пристрастились и к собственному чтению, и к стихам наизусть (свою большую библиотеку Аля привезла почти целиком из Москвы). А я с Ермолаем—Игнатом, соединённо, вёл алгебру и геометрию, со Стёпой позже, отдельно, преодолевая его мечтательную рассеянность, которая сперва тревожила нас, но была предвестием его глубокого вдумывания в мир. Стало ребятам от 7 до 10 — повёл с ними физику и астрономию, и в конце августа, когда рано выступает звёздное небо, водил их с горы и мимо пруда на единственную у нас открытую полянку, откуда можно

было видеть распах звёзд. Там разглядывали и запоминали созвездия и элементы математические, основные линии на небесной сфере, которые в другой день показывал на доске. Созвездия втягивали жадно. Стёпа запоминал лучше всех, и альфы созвездий. (Он и в географии был более чем успешен: обогнав братьев да и родителей — вот уже знал наизусть все страны мира, все столицы, все флаги, — и все же полторы сотни миниатюрных флагов собственноручно изготовил, развесил на стене.) А Игнат поражён был «Альголем» — «звездой дьявола» (за переменную яркость) — и жаловался маме, что ему теперь страшно ложиться спать.

А отец Андрей, служивший теперь в двадцати милях от нас в православной (англоязычной) церкви староэмигрантской общины, раз в неделю занимался с ребятами Законом Божиим, потом всемирной историей. Наши мальчики прислуживали за литургией, Ермолай уже читал Апостола. — Первым учителем английского наших детей стал американец итальянского происхождения Ленард ДиЛисио, милый, скромный и рыцарственный. (Зная неплохо и русский, с 79-го года, после отъезда И. А. Иловойской в Париж, он стал работать и моим секретарём, приезжая два раза в неделю.)

Со всеми этими подготовками сыновей мы успели вовремя, в местных школах уже редко по какому предмету ожидал их серьёзный уровень знаний, а испытание обстановкой — всюду необычное. Сперва — в частной школе, где много трудовых навыков и нестандартных знаний, но никаких домашних заданий и никаких отметок, чтоб не травмировать отстающих, — по меннонитско-социалистическим воззрениям директора. Потом — в общей местной школе, начальной (тоже без особых заданий), потом средней, подальше. Школьный автобус по утрам собирал детей «с холмов», после уроков развозил. Ермолай, на два года моложе соучеников, вытаскивался доказать, что не чужак и достоин быть принят в их общество, для того занимался борьбой карате. А Степан, с его добродушием, оказался незащищён против жестокости школьных нравов, на грубую ругань не способен отвечать руганью, его беззащитная повадка только подогревала атаки, да к тому же — иностранец. На переменах ему не давали участвовать в общих играх, звали *Russian Negro*, требовали, чтоб он ел траву, даже запикивали в рот. Стёпушка был подавлен, говорил матери: «из жизни — нет выхода». А произошёл в Бейруте взрыв на американской базе, погибло 200 морских пехотинцев, — стали травить Степана как «русского шпиона». В школьном автобусе ему заламывали руки назад и били, приговаривая: «коммунист! шпион!» (Организационно задуманные великолепно, эти автобусы, однако, на какой-то час вырывают детей из-под всякого воспитательного надзора, водителю за всеми не уследить, — и самое грубое и безобразное творится именно в них.)

Меньше всех испытал этого школьного драматизма Игнат — из-за рано открывшихся музыкальных способностей. Однако пойдя найди ему в лесной глуши достойных учителей. Выручило, что в 70 милях от нас, в таком же лесу, как и мы, на юге Вермонта живёт знаменитый пианист Рудольф Сёркин, и туда каждое лето к нему съезжается международный Марлборо-фестиваль камерной музыки. Сёркин признал Игната ярко одарённым, определил его к тонкой, талантливой кореянке Чонкийо Шин, ещё далее от нас, в штате Массачусетс (полтора часа в один конец возила стойкая бабушка, а уроки контрапункта — ещё в другую сторону, в Дартмут-колледж, на север от нас). У Игната началась новая плотная жизнь — и в школе он теперь отсиживал не полную неделю, только экзамены по полной программе сдавал.

Я-то мало услезивал за всеми подробностями детской жизни, они не умещались в сжатость и плотность моих дней, — тем большую тяжесть, ответственность, сердечную муку принимала Аля. Она постоянно укрепляла их, что наше изгнание имеет смысл и задачи. Да не столько словами: на сыновей действовал сам дух семьи и непрестанная, увлечённая наша с Алей работа. Вот Ермолай, с десяти лет, на машине IBM стал набирать и первую книгу нашей серии Мемуарной Библиотеки, воспоминания Волкова-Муромцева. Как мы

радовались — не только помощи, но ненапрасной надежде, что мужество и благородство тех русских мальчиков передастся ему. Вскоре затем он уже взялся перепечатывать важную струю моей переписки — с Лидией Корнеев-ной Чуковской; почерк её очень трудно читается — но он преодолел с интересом, узнавая и расспрашивая о деталях подсоветской жизни. Из духа соревнования тут же и восьмилетний Игнат кинулся печатать на машинке, — соревнование, но не зависти. Чужеземное окружение сплачивало. Мальчики вырастали в дружности, сознание нашей необычной ноши передавалось им. Во все свободные детские дни — в каникулы или когда гололёд или снежная буря останавливали ход школьных автобусов, — Аля снова и снова занималась с детьми русскими предметами, а я — математикой и физикой.

Аля как-то вспомнила, повторила наш довысылный девиз: как нам правильно разгадать небесный шифр этих лет? как правильно угадать линию поведения? — теперь уже на Западе. Но пока это понадобится — весь безошибочный шифр был: сидеть и писать, нагонять упущенную русскую историю. Есть у меня такая молитва: «Господи, направь меня!» И когда нужно будет — направит, я живу спокойно.

Конечно, худое дело: всю жизнь работать в запас, в запас, в запас. Но это — жребий разорённой России. Если бы сегодня на родине возживала бы истина о прошлом из глыбы, и на ней оттачивались бы умы, вырастали бы сильные характеры и целые шеренги делателей, — пришлось бы кстати и книги мои. А тут: старая эмиграция почти вдокон умерла, её внуки врастают в западную жизнь, мои книги им как иностранные, и сами они уже не сила и не нация; а новая Третья эмиграция, читающая главным образом по-русски, хотя и разбирает бойко мои книги в бесплатной нью-йоркской лавочке, но им не внемлет, за ними не идёт. (Нашлась и такая группка аферистов: получали мои портативные «малышки» якобы для бескорыстной отправки в СССР — а сами, через книжную базу в Израиле, пустили их там в продажу.) А современная западная публика — та и вовсе, кажется, отвыкла думать над книгами, разве что над журнальными статьями, и сами западные писатели, в большинстве своём, не претендуют на силу убеждения. Нынешняя западная литература — шекотание нервов или интеллигентному или массовому читателю, она снизилась до забавы и парадокса, утеряла уровень воспитания умов и характеров.

Итак — в запас, в запас...

И первые шаги запаса — собрание сочинений, в их окончательном виде. Такие смятенные и переколышливые были годы в Советском Союзе — ни один текст никогда до конца не отделан, не доработан, а то ещё и сознательно искажён, подчиняясь тактике укрыва до времени. Если не довершить, дочистить, докончить теперь — то когда же? Не простое писательское желание видеть поскорее эту череду томов — но внутренняя боль, что всё не прибрано, и не на месте, и можно не успеть при жизни.

Современная техника, электронная печатная машина, дала возможность Але вести ежедневный набор и в нашей глухомани, никуда не выходя, и тут же всё поправляя. (Не мог я без «ё»! С трудом заказали несуществующие в IBM головки с «ё» для главного шрифта и петита. А — для остальных шрифтов? Ловчайшая пальцами тёща моя взялась выставлять все недостающие точки над «ё» и все ударения, ведь их тоже нет в шрифтах. Выручила.)

Хотя наша первая печатная машина способна была «запомнить» только три набранные страницы, вынуждая сразу привести их в окончательный вид, не выключив машины, — Аля уже к концу 80-го года сумела набрать, выверить тексты, и мы доредактировали первые восемь томов моего Собрания. Ещё она собрала кропотливые библиографические справки к каждому произведению, обзор всех первопечатаний. Все эти годы Аля работала с удивительной уплотнённой, умелым совмещением работ, — когда жалко потерять даже час-два из пружинно сжатого дня. Вела напряжённо разрывную жизнь:

ещё же все внешние сношения, ответы на звонки, управление Фондом, конспирация с его московскими сотрудниками, — ещё особый поток. При крайних авралах работала с семи утра до часу ночи, спала по пять часов в сутки, dokonечно изматывалась.

Весной 81-го приобрели мы подобную же печатную машину IBM, но уже с памятью на магнитных картах, что позволяло работать сразу над целыми главами, — теперь-то дело покатилося бодрей! (А как болезненны срывы, когда машина портится, мастер не едет, или, приехав, не справляется починить, надо детали заказывать, — досаднейшая остановка работы, всего разгона и графика!)

По обстоятельствам жизни, у «Октября» была особая, сложная судьба. Я усиленно писал его в 1971 — 72, ещё под Москвой у Ростроповича. Потом накальная советская жизнь — оторвала, покинул надолго. И вот теперь, 10 лет спустя, сел за окончание. За это время в корпус «Октября» вступали всё новые и новые главы — и не всегда находили себе лучшее правильное место в прежней конструкции. Тут Аля дала мне много хороших советов, не только по деталям, как всегда, но и в строении, — я принял. Аля управлялась с «Августом» (тома 11 — 12), докончила публицистику (том 10) — приняла у меня «Октябрь» (тома 13 — 14). А я повёл — вторую сквозную редакцию четырёхтомного «Марта».

Нет, ни электронная наборная машина с большой памятью и ни своя ретивость и усидчивость не привели бы к цели без достойной жены. Не решусь сказать, у какого русского писателя была рядом такая сотруженица и столь тонкий чуткий критик и советник. Сам я в жизни не встречал человека с таким ярким редакторским талантом, как моя жена, незаменимо посланная мне в моём замкнутом уединении, когда не может хватить одной авторской головы и примелькавшегося восприятия. Пристальность к тексту, меткий глаз, чуткость к любому фонетическому, ритмическому процарапу, к фальши или истинности тона, штриха, синтагмы, чуткость ко всему в художественном произведении — от крупных конструкций, от верности характеров, до нюансов образов, выражений, порядка их, междометий, знаков препинания. Аля помогала мне критикой, советами, оспорами, она много способствовала улучшению и ясности моих текстов. Когда в своей многотомности я местами уставал, становился небрежен, — в изрядном возрасте и с изрядным именем это особенно грозит, можно устать выделять с прежней тщательностью, — она требовательно настаивала на повышении этих мест (всегда слышала их) и предлагала отличные варианты. Она мне заменяла целую аудиторию верных читателей, которых трудно бы собрать в эмиграции и совсем невозможно в отшибном углу. В одиночку и в одиночестве такую махину не исполнить бы на уровне. Аля не давала мне расползтись в несамокритичности. Через себя, как и я, пропускала каждую фразу и зорко участвовала в последнем пересеве слов при окончательном наборе. А ещё — и яркая память. При непосильном объёме «Колеса» она помнила повторы, которых я не отметил, забыл, не давала мне повторяться. При алином уме и энергии — ей бы развернуться в общественных шагах, у неё мгновенное соображение, способность сразу взять суть вопроса и его последствия, умение успешно спорить публично, — но всё это пока остаётся втуне ради моей нескончаемой работы в замкнутыи.

В таком сотрудничестве составлять и набирать собрание сочинений — наслаждение, ещё одна окончательная важная отделка, и ощущаешь полную (ах, и ещё не полную!) завершённую торопливого труда прошлых лет. Обычно собрание сочинений набирают отдалённые наборщики, и уже как непререкаемый текст. У нас — страница за страницей рождались на глазах, Аля приносит мне их или присылает с детьми, ежедневными порциями на окончательное чтение. К тому ж обладает она и острым графическим чутьём — к шрифтам, расположениям. Книга выходит от нас окончательной, во Франции её лишь переснимают*.

* А подошло печататься в СССР — так и советские государственные издательства охотно брали наш готовый набор, — так и пошёл он по широкой стране, чего Аля никогда не ждала прежде. (Примеч. 1990.)

Но Аля не только помогала мне сделать очередную книгу, и сделать её лучше, — она соучаствовала душой в каждом томе, иногда страстно — как в допросах Богрова, или в революционных метаниях «Марта», или в судьбах ведущих, но обречённых деятелей, или в накале сценария «Знают истину танки!» — мятеж кенгирских заключённых сжигал ей сердце, как и мне. (Тут ещё — хор над головами танкистов-подавителей: от ранних своих лет она была напитана этой грозной песней войны: «Вставай, страна огромная! / Вставай на смертный бой!» — той войны, где погиб её отец. А вот, оказывается, к тому году, как ей быть в 8-м классе, так по-новому повернулся памятный мотив, вдвойне — и к экамам, и к самим подавителям: «С фашистской силой тёмною, / с проклятою ордой!» И к *этим* мятежникам она была напитана сурово-жертвенной преданностью — никогда им не изменить и не забыть. И — удастся ли вырастить детей в такой же сквозной верности?..)

Когда в 1959 я писал сценарий «Танков» — я вовсе не надеялся увидеть фильм на экране при жизни. А потом — уже и надеялся, и сильно, и как (будто бы) потрясён будет зритель нашим лагерным восстанием. И ещё из Союза я торопил: вести переговоры с западными режиссёрами. А — ничего не получилось.

Когда на Западе была острая на меня мода — тут возникло две экранизации: совсем неудачный «Круг первый» в Дании (Форда и Форберта) и честный, но далеко не дотянутый норвежско-английский «Иван Денисович» с Томом Кортни. (Сейчас добавился эксперимент «Одно слово правды» по нобелевской лекции.)

Попав сюда, я с пылом хотел ставить «Танки». Но все попытки были неудачны. Сперва горячо брался тот чешский эмигрант, Войтек Ясный, а не было у него сил ставить. Потом приносили мне предложения американских фирм, или просто каких-то кинодеятелей. Я в этом не разбирался, однажды попался, заключил договор с новосозданной лос-анджелесской компанией «Аврора», у которой, оказывается, не было ни опыта, ни средств на постановку, а только думали они под моё имя получить деньги. Стал писать рабочий сценарий Брус Гершензон, бывший сотрудник Белого дома, политически очень точный, но совсем не художник, он выпятил политику, переклонил фильм к агитке. Наниматели расторгли с ним, привлекали какие-то голливудские оценочные упряжки (дикость: по баллам рассчитывают сценарий, насколько фильм понравится американскому зрителю), требовали в моём эпическом фильме без главных лиц — выделить главных двух героев-любowników, дописывать и переставлять сцены, — и я уже договором был связан, неужели уступать? Работу эту делал привлечённый мною Володя Тельников — он и с литературным вкусом, и в лагере сидел.

К тому времени я рассмотрел опасности, от которых может погибнуть и извратиться фильм. Главная — даже не вот американская специфическая порча под занимательность, и даже не политический переклон, а то, что переклон этот будет сделан против России. Не покажут, как оно было, — многонациональное движение, но русские были в центре (а украинцы в Экибастузе даже отшатнулись от мятежа), — а покажут восстание наций против извечной русской тирании.

И я б уже вырваться не мог, скован договором, — но лопнули мои предприниматели, не сыскали денег, — и договор упразднился.

Как я любил годами этот фильм, как надеялся, что он грянет! Но исполнилось 20 лет сценарию — и я обезнадёжился ставить его на чужбине. Да в американской обстановке этого фильма некем вытянуть, и утерян будет воздух.

И так уже я протрезвел, отшибся, отбилса от мысли ставить свой фильм на Западе, что тем более отвергал неоднократно потом предложения ставить «Архипелаг». Эта задача была — ещё куда трудней, и нельзя было её решить без того, чтоб самому садиться за сценарий: ведь должен бы получиться сплав фильма документального и художественного, кадров документальных и актёрской игры. Надо выбрать эпизоды и поставить их в правильный ряд, всем

найти пропорциональное место, а главное — не утратить его общей тональности, не снизиться до памфлета, следить, чтоб не утерян был общий очистительный дух «Архипелага», катарсис. Нельзя было пустить такой фильм здесь снимать без авторского контроля на всех этапах. А это совсем невозможно без разрушения главной работы. Пришлось отказаться.

И отказался от предложения режиссёра известного фильма «Холокост» Бродкина, более взвешенного художественно: снять фильм «Белый котёнок», побег Тэнно, с прихватом и лагерной обстановки. Это был умный замысел. Но и тут я не верил, что на американской натуре сделают всё верно. Уж в России, когда-нибудь.

Однако все эти годы чувствовал я на плечах берёмя шире только собственных моих книг. Поставлен я на такое место, и столько нитей ко мне сошлось — что и должен, и, кажется, нетрудно мне, и нельзя не — сплотить хоть малые силы, кто есть, для поднятия из пучин потопленной русской истории. Стал я прострагаться, как бы нам начать выпускать историческую серию силами приглашаемых авторов, скажем — Исследования Новейшей Русской Истории, ИНРИ, — именно новейшей, потому что она более всего запущена и жжёт. (Не значит, что XIX век России досконально исследован, нет, — тому тоже мешала накалённость тогдашнего противостояния.)

В ранней эмиграции, сразу после революции, писались больше мемуары и страстная публицистика, а если и попытки исследований, систематизации — то всё же с задачей самооправдания (чем погубил свои работы и П. Н. Милюков). Потом накатилась Вторая Мировая война и сильно всё смешала. Редкой удачей выделились книги В. А. Маклакова, С. П. Мельгунова (да и то, по обстоятельствам ли его стеснённой жизни, далеко не отстоенные до прозрачности). А Вторая эмиграция была скорее нема и больше искала, как спастись от предательской союзной выдачи большевикам. Но текут десятилетия — когда же и кому это всё вытягивать и освещать? — ведь давно пришла, и давно ушла пора!

А пристрастные искажения о России плелись ещё разночинской критикой XIX века, затем всей публицистикой освобожденчества, дореволюционной и пореволюционной социалистической эмиграцией, переняты западными учёными (как простейшая схема), теперь освежены и будоражимы яростью публицистов из Третьей эмиграции, — и, найдя себя тут сдавленным всей этой ложью, я возмечтал собрать остатки (начатки?) добросовестных русских научных сил — и дать им плыть в публику при содействии моего имени и при денежной поддержке нашего Фонда. И серию эту (я сразу так размахивался) издавать на нескольких главных языках.

Но — кого же собирать? Кто из старой эмиграции выбивался из скудости и удерживался в университетском мире — те и писали сразу на иностранных языках, и не готовили русских дубликатов для будущей России. Теперь предстояла горькая участь: переводить их труды на русский, да при этом кропотливо выискивая подлинные русские цитаты, использованные авторами, — не переводить же их обратно с иностранного. Да и книг таких достойных, оглядясь, мы поначалу только две и нашли: «Историю либерализма в России» В. В. Леонтовича и «Февральскую революцию» Г. М. Каткова. Получили разрешения издать их по-русски. (Издательства ещё неохотно и давали это право, как бы не упустить прибыли с убыточных русских изданий, — а иностранные варианты серий уже одним этим отменялись.) Жившая до 1979 года с нами И. А. Иловайская перевела с немецкого Леонтовича, частью и Каткова с английского. (Докончить катковский перевод и подготовить к печати ещё потребовало работы нескольких человек и лет.) И только вот с этих достижений прежней эмиграции мы и могли пока начать. Профессор Николай Е. Андреев из Кембриджа обещал нам написать книгу — ничего не дал. Уже близкий к

смерти И. А. Курганов и бодрый к девяноста годам С. Г. Пушкарёв прислали мне фрагменты своих оставшихся или новых рукописей — но это было вяло, слабо, в лучшем случае можно было собрать из них сборный том нескольких авторов, и то не блистал бы научными открытиями. И вот — всё, что ещё имела в исторической науке к концу 70-х годов наша русская эмиграция. Ещё, правда, можно было перепечатывать повторно некоторые статьи из сборников «Русской Академической Группы», но тоже осколки.

Так Россия и оказавшись на воле — не имела сил осмыслить сама себя?..

Оставалось искать авторов среди новейшей эмиграции, давая им на 2 — 3 года «гранты». Аля отначала выражала сомнения (и правильно), что нам такую группу исследователей удастся найти, собрать, убедить. Мне же ощущался несомненный долг: нельзя не попробовать пособить русской истории в её руинах, мы — просто обязаны попробовать.

Первое пересечение тут было — с Михаилом Бернштамом, новоприехавшим диссидентом, очень живого подвижного ума. После неприятия в чикагской академической среде, которую он оскорбил своим полнейшим отрицанием всякой марксистско-советской трактовки, Бернштам с радостью переехал в Вермонт, к нам по соседству, для предполагаемой длительной работы. Широота его замыслов и возможностей проявилась ошеломительно: он готов был писать работы и по экономике, и по демографии, и по истории ленинской партии, и по истории Гражданской войны в любом месте России, и о казачьем донском геноциде. Мы склоняли его — к истории. Он активно использовал соседнюю университетскую библиотеку Дартмут-колледжа с её межбиблиотечным абонементом (которым и я немало попользовался с благодарностью и изумлением от чёткости и богатства американских библиотек). Но когда от проектов Бернштам перешёл к написанию работ, то, при его несомненной талантливости и богатстве локальных знаний, там и здесь, — он смутил нас непрозрачностью письменного выражения, а в находках и догадках своих — смесью достоверностей и сомнительностей. Однако он страстно оспаривал каждое место — впрочем, часто и соглашался. Если ещё отметить его, по началу, склонность вставлять в изложение резкие публицистические выводы — всё вместе делало неизбежную большую редакторскую работу с ним весьма трудной. И на кого же она пала? конечно, на Алю: у меня не было такого терпения и возможности столь отвлечься от «Колеса». — За два года этого бурного сотрудничества Бернштам составил для ИНРИ в окончательном виде — два тома документов, правда весьма полезных: «Независимое рабочее движение в 1918 году» (как большевики, едва придя к власти, подавляли рабочих) и, за тот же 1918, — «Урал и Прикамье. Народное сопротивление». — А дальше надо было нам озаботиться, как помочь Бернштаму не захряснуть в тупиковом вермонтском городке, но прокладывать же свою научную карьеру. Сперва удалось получить для него грант в вашингтонском институте Кеннеди. (Там он всё более склонился к демографии и экономике; кстати: там познакомился с новейшей демографической статистикой об СССР, пока *засекреченной* Госдепартаментом, — и уже тогда с болью сообщил нам, что биологическое вырождение трёх славянских народов может стать к концу 80-х годов уже и необратимым.) А затем — моё участие в совете Гуверского института помогло, хотя не без труда, добыть там место для Бернштама, — где он сразу, к счастью, имел успех.

По эмигрантской цепочке, через нашего священника, отца Андрея, достигла нас просьба об устройстве — от недавнего, и полностью на мели, сорокалетнего эмигранта Бориса Парамонова. Его прошлое, что он всю жизнь проработал на кафедре марксизма-ленинизма, мало располагало. При встрече, когда он приехал к нам для разговора, показался он мне как-то слишком уже неопределённо, хлипок внутренне, хотя и зная: готов писать о чём угодно, было бы предложено, а больше всего его тянуло на психоаналитический разбор писательских личностей. Среди нескольких мыслимых тем для ИНРИ он заявил и такую: «История консервативной мысли в России». Это показалось

заманчиво — в параллель с уже напечатанной нами «Историей либерализма в России» Леонтовича. Что ж, пусть пробует. Мы дали ему от нашего Фонда грант (продолжившийся около двух лет). Да ничего не вышло. Он был способен к писанию коротких статей, скорее даже эссе, построенных вокруг чьей-либо, желательно парадоксальной, посылки, но не вытягивал выстроить книгу. Начал он с Николая I, потом славянофильство, — главы получались вымученные, с нестройным нагромождением, с раздвоением авторских суждений до взаимоисключения. Поначалу ничто не лишало его уверенности: он считал, что всё искупается его *пером*, движением фразы, даже и отвлечённым от последовательности взгляда (который всегда был у него — сквозь толстую призму Фрейда). Но дальше он утонул в Чичерине, в Каткове — и сдался: этой книги он не осилил.

Владимир Тельников, бывший, уже послевоенный, зэк, с начала 70-х работавший на Би-би-си, — много написал из задуманной им работы по русской истории XIX века. Однако, по эмигрантским трудным жизненным обстоятельствам, она не была доведена до последней редакции.

Ещё есть у нас близкий, сочувственный автор — Александр Серебренников, в Нью-Джерси. Он уже много лет увлечён, ведёт пристальнейшие раскопки тайной истории большевизма, несравненно владеет источниками и находит всё новые, пишет детальные разработки отдельных эпизодов, — но тоже, несмотря на наши многие уговоры и содействия, — ни до одной готовой книги не довёл своей работы. (А исключительно оказался полезен мне в сотрудничестве для «Красного Колеса»: добывал редкие издания и ещё более редкие, недоступные сведения. Так, например, он увлекательно «размотал» ленинское Поронино 1914 года: что ни в какой «тюрьме» Ленин там не сидел, там и тюрьмы не было. По убеждению Серебренникова, Ленин уже в Поронино обязался сотрудничать с австрийскими властями, после чего и был так легко отпущен в Швейцарию. Уже в советское время Ганецкий ездил в Поронино уничтожать компрометирующие бумаги, подрывающие всю ленинскую версию событий. С этим добытым Серебренников поспел прежде, чем мы окончательно, в 1983, выпускали новый «Август Четырнадцатого», и я, не перестраиваясь на его материалы и версию его не беря, однако, подправил свой исходный текст так, чтобы он не противоречил ей. — Ещё более сенсационные открытия Серебренников сделал о подрывной деятельности большевицких «страховиков» — Анны Елизаровой и других — в годы 1914 — 1916.)

Что ж, посильно будем серию ИНРИ продолжать, — но не предвидел я такой огромной отвлекающей редакторской нагрузки и такой отчаянной траты времени. Так оказалось тяжело составлять «исследовательскую группу» по русской истории. Для этого надо иметь совершенно свободные силы и отдаться этому полностью.

Другое, что я жадно желал создать, от самого моего попадания на Запад, — это «Летопись русской эмиграции». Блистательно интеллектуальная Первая русская эмиграция прожила полвека на Западе, горела спорами, группировками, оппозициями, программами, книгами, — из нашей советской подглубности мне всегда казалось так ярко-заманчиво это всё узнать! Но вот, приезжаю, — всё кануло, полуистёрлось или измельчало, и нет тому периоду добросовестного умелого летописца. Пройден и загас изрядный кусок русской культуры — но всё население Советского Союза, и особенно нынешнее пытлиное молодое поколение, все десятилетия, от рождения, лишённое по воле коммунистов знать что-либо о талантливой русской эмиграции, — когда открываются продукты, не получают и от эмиграции — ёмкого, сводного, ясного огляда. И это станут собирать в то время, когда уже будет совсем некогда в движении новых российских событий; кто-то из нынешних 30-летних должен будет погрузиться в старые публикации с опозданием, и уже всё равно не к горячему сроку эту летопись написать. Удивительно бываем мы, русские, беззаботны, беспомощны, безруки, недалёковидны!..

А мне так ясно эта Летопись рисовалась: несколько выпусков, 1917 — 20, 1921 — 24 (и всё дальше выразительно ложится по календарным четырёхлетиям). В каждом: справки о группировке русской эмиграции по странам в данный период; обзор организаций, культурных начинаний, органов печати; главные политические и общественные шаги этого периода, с главными аргументами сторон... Ничего не вышло. Предлагал свой проект «Посеву», «Имке», втягивал профессора Н. П. Полторацкого в Питтсбурге (и он уже давал подготовительное задание помощникам из Сан-Франциско), профессора А. Е. Климова (и он работал у нас в Вермонте два зимних месяца, но многообразные задачи отвели его на другое).

Нет русских сил! Не хватает.

Что удалось урядить — Всероссийскую Мемуарную Библиотеку (ВМБ), она начала собираться ещё с осени 1977, по моему возвыву к эмиграции, но не так бурно, как я надеялся: напуганная Вторая эмиграция боится мемуары писать, а Первая кончается. И всё же многие посылают: кто уже имел написанные воспоминания, да не знал, кому оставить в наследство; или кто не мнил свои воспоминания достойными записи и помещенья в архивы, теперь написали для нас.

Заведывать этим архивом и перепиской с авторами на смену отцу Андрею Трегубову нашлась — кто же? — многолетняя в прошлом переводчица ООН, теперь на пенсии и слепнущая, эмигрантка Нина Викторовна Яценко, живёт не так далеко в Нью-Хэмпшире, к нам раз в неделю, с ночёвкой.

Вот таковы русские кадры...

Наша попытка собирать архив воспоминаний одними русскими силами была в эмиграции уже третьей: после Пражского архива, захваченного большевиками в 1945, и «бахметевского архива» в Нью-Йорке, перехваченного в 1977 Колумбийским университетом. (А парижская эмиграция своего архива не собрала.)

Поступали ко мне настойчивые сведения, что и «Заграничный архив Охранного отделения», переданный из Парижа В. А. Маклаковым в Гувер, и особенно Смоленский архив ГПУ, вывезенный из Смоленска немцами, а затем перенятый американцами (а там, например, и дело о похищении гепеушниками генерала Кутепова из Парижа), — близоруко разбазариваются. Уходит в песок кровь русской истории.

И я уж склонен был рвануться на защиту этих архивов — но не только невыносимо бросать писательскую работу, а и: это ж надо ещё собрать все достоверные подробности расхищения. И: какую американскую аудиторию задевает история о пропавших русских архивах?

Что посылить бы нам попытаться — это на основе ВМБ и прежде присланных воспоминаний современников революции начать издавать Мемуарную серию, из самых ярких мемуаров. Финансировать убыточное, скорей всего, печатанье серии (эмигрантский книжный рынок изнывает от избытка непокупаемых книг) — это ещё самое простое для нас. Но главное: как стянуть к стройности разбродные, рассеянные, повторительные воспоминания слабейших, умирающих стариков? Кому же? — опять Але, вытягивают её пронзительные редакторские способности. Рассыпанные, многоповторительные, с наложенными возвратами, досказами (но ни в одной детали не противоречивые!), воспоминания Н. В. Волкова-Муромцева, выросшего в грибоедовской Хмелите, она перешлила и крепко сплотила, не потеряв ни единого блёстка. — А дальше принялась за притекшие к нам воспоминания советских военнопленных в германском плену — доньне запретная тема, зияющая жестокой тьмой. — А вот лежит несколько томов воспоминаний В. Ф. Клементьева, — я очень поощрял его писать, воспоминания уникальны, — о противобольшевицком подполье в Москве 1918 года, о Таганке и Бутырках 1918 — 20, — но он увлекался беллетризацией повествования, опять-таки надо редактировать к строгости, — нет времени, отложим.

Время, время, где его взять? Аля разрывается: четверо сыновей, да растимых в чужеземьи, — и дать им неповреждённый богатый язык, и сохранить их русскими. И все заботы о Фонде, конспиративная передача в СССР многих тысяч советских рублей. Рядом с этим — тайная «левая» переписка с Москвой и, значит, с каждым же из цепочки передающих; струя жгучего сочувствия к нашим там, и благодарность к старателям, и зоркость к каждой детали — всё предусмотреть, и трезвая оглядка к выражениям: чтоб и в случае провала любого письма — никто б и ни в чём не провалился. От пачки таких писем, всегда составляемых в быстроте, по внезапности оказии, Аля от напряжения лишается сна. А о том же Фонде — и ежегодные бухгалтерские и тематические отчёты швейцарским властям: среди тех, кому помогли, — сколько подследственных, осуждённых, сколько ссыльных, какова помощь семьям, и для поездок на дальние свидания с передачами, и сколько — на детей, и кроме цифр — по мере возможности оправдательные документы, а их-то трудней всего нашим распорядителям составлять, хранить и додержать до передаточной оказии к нам.

И ещё же — публичная, на Западе, защита распорядителей Фонда в СССР. Постоянно уязвимая наша пятая: тамошние распорядители Фонда. Вот, два полных года вела Аля в Штатах и в Европе кипучую кампанию в защиту арестованного Алика Гинзбурга (с незаменимой помощью И. А. Иловайской). Когда на советских вождей нечем повлиять, а Запад не просто взять за сердце — невероятным чудом удалось Гинзбурга освободить. Но разве ГБ оставит в покое наш Фонд? Доходили дурные слухи из Союза о Фонде: после ареста Гинзбурга была чехарда распорядителей, потом пост приняла жена его Арина, но её сильно трясли и подосланные от КГБ угрозы, и прямые завистники, или корыстные искатели, и советники из диссидентских кругов, или просто недоверчивые, что там в этом Фонде творится. Да не бывало, что такое самовольное начинание, как наш Фонд, вот уже восемь лет действует в Советском Союзе — и не задушено! — удивляться ли всем этим неурядицам. Но придумали мы с Алей, что я вмешаюсь: напишу отсюда открытое письмо недоброжелателям Фонда, пошлём его «по левой» в Союз, а там распространить как Самиздат — новая форма. Так и послали. [1]* И сколько-то обращение это ходило по рукам, сколько-то и помогло.

Потом начались преследования следующего распорядителя — Сергея Ходоровича. Он — правильную линию ведёт, не повторяет ошибку — прямо вступать и в диссидентство, политикой не занимается, только Фондом. Но и его пугали ножом подставные бандиты, то избивала милиция, то квартирные обыски, то задерживали и гипнотизировали в одиночке: выведать пути доставки денег, — ведь восемь лет щёлкает ГБ зубами, а не поймает! Мы думали — всё, арестован и Ходорович, — нет, через две недели отпущен пока. (В январе 1981, в самые тревожные дни его задержания, надо было срочно делать заявление, я написал**, Аля бросилась передавать, — так третьезмигрант из нью-йоркского бюро Би-би-си Козловский *отказался* принять заявление: вы хотите *отвлечь внимание* от годовщины сахаровской ссылки! Какой же искривлённый ход ума!) Держится Ходорович с замечательным самообладанием и тактом. А не дай Бог опять его схватят, и снова Але начинать отчаянную кампанию по его защите — где? как? через чужие не вмешивающиеся американские пути. (И вообще: как долго удастся отстаивать Фонд в СССР против ГБ?..) В конце 1981 я сделал ещё одно заявление о Ходоровиче***: предупредить Лубянку, что глаз с него не спускаю.

Или вдруг: где-то в Твери, под тяжёлой советской лапой, внезапно объявляется бесстрашный геофизик Иосиф Дядькин со своими расчётами о много-

* Цифра обозначает номер приложения, помещенного в конце глав.

** Солженицын Александр. Публицистика. В 3-х томах. Ярославль, Верхне-Волжское изд-во, 1995 — 1997. Т. 2, стр. 547. (Далее ссылки на это издание даются с указанием тома и страницы. — *Ред.*)

*** Там же, т. 2, стр. 590.

миллионных уничтожениях в СССР — и самыми весомыми цифрами. И, конечно, тотчас арестован. Мы — обязаны его защищать (в мае 1980 я призываю западных социологов и демографов вступить за коллегу*), но Дядькин успел передать к нам и просьбу: найти независимого западного эксперта для оценки его статистической работы. Кому же (не выезжая из Вермонта) найти такого эксперта в Нью-Йорке — Вашингтоне? а для того обеспечить квалифицированный перевод работы Дядькина на английский, да в будущем найти ей издателя? Ну Але же, конечно.

А ещё же отзывается Аля и на многие печали совсем незнакомых людей — а это всё отлив, отлив от вектора нашей работы. И приходские обязанности, и груз хозяйственно-домашних, да ведь всё в невесельи изгнанничества, — много, много сил и сердца её ушло, смотрю, уже седеет прежде времени.

В Советском Союзе, нищие, мы иначе жили: бескорыстные и безбоязненные (ибо угроза была — тюрьма!) помощники так и притекали к нам со всех сторон. А тут — заклятье: нам бы с Алей всего лишь третьего — но умелого, неутомимого, как мы, сотрудника в литературной работе, и закипела б она несравнимо, — и все годы этого третьего нет. Нету третьей пары глаз, чтобы смечать и решать, править и печатать. (И вырастет ли на то кто из детей? И — когда это будет?..)

Нет работников! нет сотрудников! нет союзников! — это теперешнее рыхлое состояние русской эмиграции. Неужели и в других нациях так? или настолько вымерли русские и оскудели?

И тем стойчей, гордо додерживаются по многу лет — тоненькие белогвардейские журналы, «Часовой» Орехова, «Наши вести» (бывшего Русского корпуса в Югославии), «Кадетская переключка» — да, тех самых, молоденьких в Гражданскую войну кадет. И даже — «Вестник Общества Ветеранов Великой Войны» (это — 1914 — 1917) не сдаётся! Держатся беспримесные монархисты в аргентинской «Нашей стране», наивно ждут, что вослед большевикам вернётся династия Романовых; слаб их голос, ибо знают, что слушает их узкий круг, лишь одни единомышленники, и вовсе нет мускулов. И все эти издания — никакого собственно фронта не держат, потому что никто из «культурной» печати им и не противостоит: их не читают и не замечают.

Пытались (старый соловчанин Хомяков) создать общерусский журнал в виде «Русского возрождения» (и я ему, чем мог, помогал) — но Зарубежный Синод сам же и выхолостил его: синодальной цензурой, епархиально-назидательным направлением, отчуждением от острых общественных вопросов.

Взялось с горячностью русское национальное «Вече» в Мюнхене (по горячности же взвалив на себя наследство осиповского «Веча», загрязшего в попытках найти общий язык с советским правительством) — но за три номера обнаружили, что и авторов у них нет, и прочных передаточных каналов с родиной тоже нет. Просто — журнал для ещё одной эмигрантской группки.

Бьётся существовать «Голос Зарубежья» Пирожковой — очень устойчивый в антикоммунизме, уже до окаменелости: до полного недоверия, что внутри СССР может когда-либо произойти какое-то благодетельное развитие, а если диссидентское или профсоюзное движение — это непременно манёвр КГБ. От подсоветских ждут и требуют только и именно революции. — А если нет? что остаётся?

Из номера в номер с ним яростно спорит «Свободное Слово Карпатской Руси» — журнал карпатороссов (все они — горячие патриоты России), теперь захваченный несколькими сомнительными эмигрантами из СССР «национального направления». Прямо противоположно Пирожковой они уверенно воз-

* «Публицистика», т. 2, стр. 540.

глашают, что большевики именно и выражают сегодняшнюю Россию, что Россия, даже под большевиками и даже не сбрасывая их, — входит в счастливое возрождение. Таким — всегда мешаю я; и их ярость против меня, уже совсем с другой стороны, — что я предаю Россию евреям, главный предатель я и есть, — может удивить горячность. Защита мною имени «русский» в отличие от «советский» — это, дескать, «стрельба по воробьям»; «„Архипелаг Гулаг” — вчерашний день русской истории»; «Жить не по лжи» — «ловушка для скотского племени»: «это значит стать в оппозицию к существующей власти, тогда честные и порядочные люди останутся за бортом, дети наши не пойдут в институты». «Мудрецы Сиона направляют Солженицына в своих разрушительных антихристианских целях». (Так сложился единый против меня фронт, слева направо от Синявского до Синявина.)

И от нескольких номеров всех этих журналов быстро замечаешь, что редко какой из них обладает хотя бы десятком авторов, а то только четырьмя-пятью, которые уныло и заполняют собой все номера сплошь. По-настоящему, все эти эмигрантские силы только-только бы обеспечили вместе — один плотно содержательный журнал.

Отдельно стоит «Посев», политический орган Народно-Трудового Союза. (Когда зарождался в 20-е годы — звался «национально-трудоустрой», выдвигал русскую тему, — но потом смутился и переназвался. Да ведь и денежную помощь искали.) НТС сумел развить кое-какую агентуру даже под лапю КГБ, имеет ограниченные, но живые связи с кем-то в метрополии: оттого чтение «Посева» сегодня — самое «российское» чтение на Западе, даёт неподдельные живые сведения с родины, открывает её проблемы. Стал журнал и меньше заниматься задачей предполагаемого революционного переворота, переносит внимание на конструкцию русского будущего с высоким нравственным уровнем. (Вообще за последние годы НТС, созданный полстолетия назад и когда-то копировавший с ленинизма боевую организацию, зашатался в своей тактике делать революцию в СССР и «перенимать власть из слабеющих рук КПСС», как уже выражались они. Поняли, что революция погубила бы страну до конца, и теперь перестраиваются искать «конструктивные силы» в руководящих слоях СССР — эх, есть ли они? — и самих себя справедливо считают лишь частью таких конструктивных сил.) — Другой журнал НТС «Грани», не имея своего круга литературных сил, составляется очень разнородно; многое заполняется ищущей литературной публикой из Третьей эмиграции.

У «Вестника РХД» общий духовный уровень — намного выше всей сегодняшней эмигрантской журналистики; до пресечения каналов посылки он энергично читался в Москве в кругах свободомыслящих, от того времени у него ещё сохранились кое-какие пути поступления рукописей из СССР, что заметно оживляет его. В нём весьма сильна религиозная (реформаторская) струя и общекультурная, — однако национальное сознание просвечивает бледно. Состав журнала (большой перевес богословия, литературного архива Серебряного века и Первой эмиграции) затруднял ему стать центром обмена текущих общественных запросов, лишь в 70-х годах Струве решительно перешёл эту преграду. Но входя в такие споры, не раз и схрамывал с тропы, не остережась. (Я — слал им свои возражения. А всё равно не остаётся мне в эмиграции журнала более близкого.)

А что — «Континент»? Я сам же и предложил ему этот смысл: объединить силы Восточной Европы. Это в большой мере и удалось. Но почти не находил я в нём ни одной из исконных линий русского интереса: бедствий современной провинции, деревни, уничтожения крестьянства, православной веры, плена советско-германской войны, репатриации, да и глубже — русской истории и традиции. Выказывал я Максиму, что затея — в русской теме не удалась. Можно было бы «Континенту» не печатать безграмотные упражнения в русской истории Янова, воздерживаться от захваливания в рецензиях ничтожных книг, не клевать на пародийные хохмы, не безобразить задние обложки опусами псевдоживописи, вообще держать контур строже. Но и подумать: при та-

ком значительном печатном пространстве журнала — как Максимову отбирать авторов? Он невольно вплыл, как в смерч, в суматошность и болезненное пузырение Третьей эмиграции, ошалевшей от свободы говорить. (Так и печатают: «Третья эмиграция имеет провиденциальный смысл».) Они — никому не обязаны говорить глубоко и ответственно, — и каким же иным стать журналу (да влекущему гонорарами) в центре политического кипения? Континентская проза, вот уже за 7 лет, мало представила удач, а то шибает несуразностью, эксцентричностью, старанием как-то особенно искобениться, и тогда ощущаешь, что это — сбочь от главной дороги литературы. Но скажем спасибо Максимову, что безупречно выдерживает стержень и против большевиков (впрочем, иногда печатая не слишком раскаявшихся советских), и против западных близоруких радикалов, и против дрянности русскоязычного западного радиовещания. (Вопреки всему духу вокруг — может найти место и для телеграммы долгосидчику Огурцову.)

В Первой эмиграции до Второй войны живыми центрами общественного обмена были газеты, только в Европе и только основных — три: кадетские «Последние новости», «Руль» и более правое «Возрождение», да единственный тогда толстый журнал «Современные записки» (с сильными эсеровским уклоном). С войной (а кто и раньше) они все кончились. «Возрождение» восстановилось в Париже как журнал — но никак не влиятельный, не читаемый. Были и другие разновременные попытки, но это предмет мечтаемой «Летописи эмиграции».

За океаном вслед «Современным запискам» стал издаваться «Новый журнал» — и ещё в 50-х годах был весьма живым, изредка доходившие в СССР номера читались нами с большим интересом. С тех пор, однако, на «Новом журнале» сказался закон вымирания и старенья авторов (да и читателей), волной Третьей эмиграции он и вовсе отсторонён. Каким-то чудом Роман Гуль продолжает выпускать его регулярно, и в нём сохраняется достойный уровень, но размывает его вялость, и от горячих точек жизни он в стороне.

В Штатах ещё до революции возникло усилиями выходцев из России «Новое русское слово». Коммерчески оно крепко держится и до сих пор, а при своей почти единственности на крупную тут русскую эмиграцию — на долгие годы стало и естественной общей антикоммунистической трибуной, и осведомителем о новостях — даже, вынужденно, и для тех, кто не соглашается с другими особенностями газеты. После войны укрепилось оно тем, что раскрыло свои страницы — Второй эмиграции. Но в последнее время ещё более распахнулось оно для Третьей — и, в соревновании с возникающими третьеземлянтскими газетами, усвоило стиль пошлейших объявлений, до бульварности, — а в подаче новостей небрежность и разухабистость шибает с первой же страницы.

В Европе после Второй войны у эмиграции уже не нашлось сил издавать свою газету. Появилась «Русская мысль» — но на американской правительственной поддержке, а потому редактору её С. А. Водову, потом З. А. Шаховской, ясней была линия в годы Холодной войны и затруднительна при «разрядке». В 1979 руководство газетой приняла И. А. Иловайская. Однако выдержать газету вровень со своим названием — непосильно ни ей, и никому. Несколько раз И. А. осмелилась поместить крупные фотографии старых снеженных или обезображенных русских церквей, значительно отметила столетнюю годовщину от убийства Александра II, — и сейчас же свободолюбцы и «плюралисты» Эткинд, Синявский и Любарский написали обыкновенный политический донос в американскую инстанцию, что газета опасно уклоняется к националистическому и монархическому. Я дал в газету отрывок о Столыпине, к 70-летию его убийства, — И. А. уже не решилась напечатать его со столыпинским портретом, как я просил, — ведь он трижды клеймённый. (Ещё бы! На радио «Свобода» — полностью сняли подготовленную о Столыпине передачу; на «Голосе Америки» — по оплошности? — прочли 7 минут из моей столыпинской главы, а продолжение зарезали.) Да само собою, напором, Третья эмиграция честолюбиво ломится и сюда со всяким печатным вздором,

то и дело — самые посредственные перья. Ощущение рядов прежней эмиграции остаётся только на странице похоронных объявлений и от редких повторов старых, полувековой давности, эмигрантских публикаций. Уже никого не удивляет, что в журнальных обзорах «Русской мысли» не минуются новые журналы «Время и мы», «22», но никогда ни вздохом не отразится, даже в упоминаниях, доживающая от 20-х годов русская эмигрантская печать.

И что ж мы за нация, если полтора-двух-миллионное яркое наше рассеяние — кончается как бы ничем? Даже Церковь наша расколота натрое. Видимо, мы неспособны выстаивать в диаспоре — и это порок русского духа: мы слабеем, когда мы не в сплочённых (и командуемых) массах.

После 60 лет нет реальных сил, русские за границей усачиваются в чужеземную почву, выращивают чужеземное поколение. (И как я не видел и не размыслил этого в первое моё швейцарское лето, когда занёсся мечтами о «русском университете»!)

Двухмиллионное русское безлюдье... И нельзя надеяться, что «со временем вырастут силы», могут только догаснуть. Спасибо, что хоть несколько десятилетий сберегали град русской культуры.

Нет, не из эмиграции придёт спасение России (и никогда не приходит из эмиграции). Только — что сделает сама Россия внутри.

А — что сделает? Вот это наше свойство, приобретенное за петербургский и советский периоды, — разобщённости, несамодетельности, ожидания властной собирающей руки, — ведь оно и на родине такое ж, как в диаспоре.

Утекло восемь лет моего изгнания. Сквозь коммунистический панцырь не бывает ни видно, ни слышно, ни догадно. Но вот наши друзья, мои соавторы по «Из-под глыб», сумели всё-таки ещё раз публично высказаться — в номере 125 «Вестника РХД», продолжили полемику с нашими оппонентами. А больше — нет сил; кто выдержит десятилетия советского измочаленья? Несломленный вернулся из лагерей Леонид Бородин, с его здоровым строительным патриотизмом и несомненным литературным талантом. (И тоже — повестироманы в самиздат, куда же?..)

Из-под того же панцыря притекают к нам от близких друзей долгожданные пачки «левых» писем — и с каждой такой спрессованной странички бьёт ветер родины. Изредка кто вырвется на Запад, Миша Поливанов на математический конгресс, напишет, как маслом к сердцу. Как будто там нет никого, ничего, — а ведь плещет вода подо льдом, ой плещет! Вдруг прорвалась брошюра Д. С. Лихачёва «О русском». Вдруг прошлой осенью в Милан на блоковский симпозиум выпустили критика Игоря Золотусского — и он отчётливо говорил о гоголевской «Переписке», повернувшей Блока в последние месяцы. Плещет, зреет, невидимо, — и только жаждой души можем угадывать, поддерживать связь с тем процессом.

У Али от каждой весточки: всё больней, что мы живём «в нигде». Говорит: так мучительно ясно всплывает какая-нибудь станция подмосковной электрички, а от неё — знакомая наизусть тропинка, взрытая жилами сосновых корней. А посещают нас и мощные приветы с родины — это обильные вермонтские снега, даже и мощнее, чем в Среднерусьи. Аля замороженно любит снег, утешается им. Зимы у нас в Вермонте — замётные. (Но хотя со всех сторон лес, а на лыжах не походишь: перепады круты, и в спутанных зарослях.)

Главные, определяющие процессы идут, конечно, на родине, как они ни задавлены, ни заморожены. Но упускаю возможность сегодня повлиять на направление следующих поколений — а сколько молодых ложно тянется подбирать объедки перекормленного Запада, — им это кажется таким соблазнительным, — и куда они вырастут? Ещё и это нам всё отольётся.

Да что там! — разоряются дотла, кончаются деревни Средней России! — и разве я могу отсюда вмешаться? А вот: задумали осатанелые большевики по-

врачивать наши северные реки на юг — затопить исконный русский Север в пустой надежде спасти урожай Юга, загубленный их же коллективизацией. Это приводит меня в ярость. Как обуздать их банду? на какую силу где опереться? — нет таких сил в мире.

Советской печати не читаю, по исконному отвращению. Но иногда присылают мне вырезки, прочтёшь — заноешь от тоски: нет, над коммунистическими властями не идут десятилетия, они нисколько не меняют своей фразеологии, омертвело духа. Нет, они не переменяты, пока не сломаются.

Но какая на советской поверхности видна несомненная надежда — это всё-таки «деревенщики», — нынешнее, под советским гнётом, продолжение традиционной русской литературы. Умер яркий Шукшин, но есть Астафьев, Белов, Можаяев, Евгений Носов. Стоят, не сдаются! И, внезапно, быстрый, уверенный рост Валентина Распутина — такого душевного, и с углублением в суть вещей. (И медленно смелее Солоухин, расслабевший в литературных верхах.) Вот уже второе десятилетие «деревенщики» держатся и пишут — и, сквозь порою казённые вставки или вынужденные умолчания, струится же через их книги подлинный язык, и нынешняя униженная жизнь народа, и мерки неказённой нравственности.

Как-то в «Континенте» критик-эмигрант Ю. Мальцев, отчасти в ответ на мою похвалу деревенщикам, обрушился на них, что они — лгут, не выявляют социальной истины, и никакая поэтою не настоящая литература. Читал я и сознавал себе: да, и я так думал всегда: если нет полноты социальной правды — то это не литература. Да, конечно, деревенщики дают нам не полную правду и в этом смысле изменяют традиции XIX века. Но они же и — противодействуют 65-летнему затоптанию всякого русского чувства на родине. А какая другая ветвь следовала той традиции лучше?

Есть (уже никак не деревенщик, он вообще особняком) очень обещающий Владимов, хорошая у него манера письма, отделанно. И ярко талантливый драматург Рошин. И поэтические имена переходят по советскому болоту, перемененно мерцают: Чичибабин, Кублановский, Чухонцев. (Есть немалые достижения и в «городской», «интеллигентской» литературе, несколько привлекающих имён.)

Когда я досиживал лагерный срок ещё при Сталине — как представлялась мне русская литература будущего, после коммунизма? — светлая, искусная, могучая, и о народных же болях, и обо всём перестраданном с революцией! — только и мог я мечтать быть достойным той литературы и вписаться в неё.

И вот — видные российские литераторы хлынули в эмиграцию, освободились наконец от ненавистной цензуры, и тутошнее общество не игнорирует их, но подхватывает многими издательствами, изданиями, с яркими обложками, находками оформления, рекламами, переводами на языки, — ну, сейчас они нам развернут высокую литературу!

Но что это? Даже те, кто (немногие из них) взялись теперь бранить режим извне, из безопасности, даже и те слова не пикнут о *своём* подлаживании и услужении ему — о своих там лживых книгах, пьесах, киносценариях, томах о «Пламенных революционерах», — взамен на блага ССП — Литфонда. А нет раскаяния, так и верный признак, что литература — мелкая.

Нет, эти освобождённые литераторы — одни бросились в непристойности, и даже буквально в мат, и обильный мат, — как шкодливые мальчишки употребляют свою первую свободу на подхват уличных ругательств. (Как сказал эмигрант Авторханов: там это писалось на стенах уборных, а здесь — в книгах.) Уже по этому можно судить об их художественной беспомощности. Другие, ещё обильнее, — в распахнутый секс. Третьи — в *самовыражение*, модное словечко, высшее оправдание литературной деятельности. Какой ничтожный принцип. «Самовыражение» не предполагает никакого самоограничения ни в обществе, ни перед Богом. И — есть ли ещё что «выражать»? (Замоднело это словечко уже и в СССР.)

А четвёртым зна́ком ко всему тому — выкрутасный, взбалмошный, да по-рожный авангардизм, интеллектуализм, модернизм, постмодернизм и как их там ещё. Рассчитано на самую привередливую «эли́ту». (И почему-то отдаются этим элитарным импульсам самые звонкие приверженцы демократии; но уж об искусстве широкодоступном они думают с отвращением. Между тем, сформулировал Густав Курбе ещё в 1855: демократическое искусство это и есть реализм.)

Так вот *это* буйное творчество сдерживала советская цензура? Так — пуста была и трата сил на цензурный каток, коммунисты-то ждали враждебного себе, противоборствующего духа.

И почему же такая требуха не ходила в самиздате? А потому что самиздат строг к художественному качеству, он просто не трудился бы распространять легковесную чепуху.

А — язык? на каком всё это написано языке? Хотя сия литература и назвала сама себя «русскоязычной», но она пишет не на собственно русском языке, а на жаргоне, это смрадно звучит. *Языку*-то русскому они прежде всего и изменили (хотя иные даже клянутся в верности именно — русскому языку).

Получили свободу слова — да нечего весомого сказать. Развязались от внешних стеснений — а внутренних у них не оказалось. Вместо воскресшей литературы да полилось непотребное пустозвонство. Литераторы — резвятся. (Достойным особняком стоит в эмигрантской литературе конца 70-х Владимир Максимов.) В другом роде упадок, чем под большевицкой крышкой, — но упадок. Какая у них ответственность перед будущей Россией, перед юношеством? Стыдно за такую «свободную» литературу, невозможно её приставить к русской прежней. Не станова́я, а больная, мертворожденная, она лишена той естественной, как воздух, *простоты*, без которой не бывает большой литературы.

Да им мало — расходиться по углам, писать, затем свободно печататься, — их потянуло теперь на литературные конференции («праздник русской литературы», как пишет нью-йоркская газета), пошумней поглаголить о себе и смерить свои растущие тени на отблеском фоне традиционной русской литературы, слишком погрязшей в нравственном подвиге, но, увы, с недоразвитым эстетизмом, который как раз в избытке у нынешних. По наследству ли от ССП они считают: чем чаще собираться на пустоголовье литературных конференций, тем больше расцветёт литература? Прошлой весной собирали сходку в Лос-Анджелесе, близ Голливуда, этой весной — в Бостоне. И все их приглашения: что подлинная культура ныне — только в эмиграции, и что «вторая литература» Третьей эмиграции и есть живительная струя. (Второй тупик Пятой линии...) А Синявский и тут не удерживается от политической стойки: опять — о «пугающей опасности русского национализма», верный его конёк много лет, почти специальность; ещё и с лекциями об этой пугающей опасности колесит ведущий эстет по всему миру.

Но вот ужасная мысль: да не модель ли это и будущей «свободной русской литературы» в метрополии?..

И вот только сейчас, при русском литературном безлюдьи, и при этом третьем эмигрантском шабаше, я с возросшим пониманием вижу, как много мы потеряли в Твардовском, как нам не хватает его теперь, какая это была бы сегодня для нас фигура! Когда я был ожесточён борьбой с советским режимом и различал только заборы цензуры, — Твардовский уже тогда видел, что не к одной цензуре сводятся будущие разлагающие опасности для нашей литературы. Твардовский обладал спокойным иммунитетом к «авангардизму», к фальшивой новизне, к духовной порче. Теперь, когда претенциозная эмигрантская литература поскользила в самолюбование, в капризы, в распущенность, — тем более можно вполне оценить такт Твардовского в ведении «Нового мира», его вкус, чувство ответственности и чувство меры. Уже тогда натягался, а я не понимал, ещё и этот конфликт: противостояние Твардовского наплыву художественной и национальной безответственности. Я только видел, что его окру-

жение — всё правоверные коммунисты; не видел, как он держит плотину от потопления чужеством. (Хотя не абсолютно он в этом успел.) Прорывом «Ивана Денисовича» Твардовский не дал литературной оттепели излиться в ревдемократическом направлении или исключительно о тюремных страданиях образованных горожан. Я так был распалён борьбой с режимом, что терял национальный взгляд и не мог тогда понять, насколько и как далеко Твардовский — и русский, и крестьянский, и враг «модернистских» фокусов, которые тогда ещё и сами береглись так высказывать. Он ощущал правильный дух — вперёд; к тому, что ныне забренчало так громко, он был насторожен ранее меня. Лишь теперь, после многих годов одиночества — вне родины и вне эмиграции, я увидел Твардовского ещё по-новому. Он был — богатырь, из тех немногих, кто перенёс русское национальное сознание через коммунистическую пустыню, — а я не полностью опознал его и собственную же будущую задачу. Мне уже тогда посылался лучший и наидальний союзник — а мне некогда было помочь ему рассвободить душу и путь. Нашей больной литературе, встающей на ноги, ещё как бы помогли его крупные руки, его подсадка!

Но его перепутало и смолело жестокое проклятое советское сорокалетие, — охват его литературной жизни, все силы его ушли туда.

* * *

При счастливой писательской работе этих лет — совсем бы мне ни во что не вмешиваться, да! Я вполне искренно заявлял, что я — не политический деятель. И ещё бы говорить в своей стране, на родном языке, к понимающим соотечественникам, к нашим существенным нуждам, ощущая себя частью творимого дела. Но когда заявляешь что-то для иностранных телеграфных агентств или пишешь статью для еженедельника, то прежде всего: ну какой там и для чего может быть сочный русский язык? — сиюминутно всё будет смазано в переводе (хорошо, если и не в мысли). И уже заранее невольно обедняешь язык, пишешь серым.

Да ещё вот. Чуть где событие, вскочит шишка, — агентства рвутся, добиваются от меня высказывания — но оно будет действовать всего пять минут, через пять минут уже вскочит в другом месте другая шишка, а эта — будет прочно забыта. Медиа всю душу выкладывает не за глубину — за новость. А для меня написать самое малое общественное заявление — требует найти слитный кусок чувства и мысли, большой концентрации, отдачи, поворота всего существа. Невозможно всё отрываться и отрываться от огромной работы — и тратить, тратить сверхусилия.

А ещё же: каждое вылезание в публицистику немедленно тянет за собой грозды откликов и писем, по объёму во много превышающих мои строки, — и что ж? отвечать? (Удивляюсь, что ещё не догадались в Штатах провести закон, что каждый *имеет право* на ответ — ну наряду с правом личности «всё знать». Под таким законом попотел бы я, отвечая на тысячи писем, до литературы бы уже не дошло.)

А ещё же — хоть на меня и «прошла мода» на Западе, всё равно все эти годы льётся лавина приглашений, не перечсть: приехать выступить, приехать получить премию или почётную степень, прислать приветствие конференции, сборищу (да даже если в простом письме чуть поотчётливее ответишь — уже оглашают как приветствие). Сотни приглашений, никакой месяц не меньше двух десятков, больше всего — внутри Штатов (да ещё ходатайства, поддерживаемые сенаторами), да из Южной Америки, из Азии, из Европы, из ватиканских кругов. В Европе тоже любят поговорить, но в Штатах — особенно: их и жизнь — собраться за столами с разноцветной пищей и речи произносить. Редко отказывался я сам, чаще за меня Ленард Дилисио. Рука отсохнет отвечать, да ведь всякий раз одно и то же: занят, не могу прервать работу, никуда не выезжаю. Но не утомлялись присылать и повторно, и телеграммы, и экспрессы, и совсюду новые, и дальше. И бывают же весьма достойные пригла-

шения — например, почётное членство в Шотландской Академии Наук, или в Баварской Академии Изящных Искусств, — но надо в точно назначенный день быть в Эдинбурге, или, соответственно, в Мюнхене. Срываться и ехать? Никак для меня невозможно, как из Цюриха не поехал в Оксфорд: разрушение работы. — Или приглашает на свой съезд в Америке старая (с 1913) организация «Рыцари Литвы» — чтобы принять медаль «друга Литвы». Я — и друг Литвы, и с лагеря люблю литовцев, — но тогда и ещё в десяти случаях не откажешь, и ехать в одну сторону 8 часов на машине, — нет, отклоняю. А ещё же — шлют рукописи и книги на всех языках (вплоть до польского и сербско-го), чтобы к первым писал предисловия, а на вторые бы отзывался.

Среди приглашений — большая доля и предложений интервью, — газетных, радио, телевидения. (А то — какому-нибудь журналу или даже отдельному корреспонденту дать какое-то разъяснение по частному вопросу, — и для того «охотно готовы» ко мне приехать...) Сладок будешь — расклюют... Для интервью надо переключить внимание с истории революции на современные политические материалы, нарушить весь свой художественный строй, это болезненно.

Но выпадают — и огненные же моменты. В августе 1980 разгорались забастовки польских рабочих, и какие ж молодцы: уже уступают им по хлебу-мясу, — нет! политические требования! Малый клочок земли, так легко подавимый, — а стоят гордо! (Нам бы так!) Кто видел по европейскому телевидению, рассказывал нам: рабочие держатся так строго и достойно, как на церковной службе. Как-то вместе с Алей слушали очередную радиопередачу о них. Аля, горя глазами: «Пошли им приветственную телеграмму!» Я сразу: «Да!» Хоть успеть крикнуть полякам о нашем русском сочувствии. И уже через час Аля передавала телеграфным агентствам и «Голосу Америки»^{*}.

А к декабрю того же 1980 года — опять такое: кажется, вот-вот войдут в Польшу советские войска! — и как *тут* промолчать? не в надежде их остановить, это не в наших силах, — но в нашем долге крикнуть, отделить: что это коммунисты, а не русские, не мы несём позор! Когда танки пойдут — уже некому будет слушать русский голос, и не оправдаешься. Я поспешил с новым заявлением^{**}. (А «Голос Америки», это ещё при Картере, струсил и смягчил меня. Не могли они такой дерзости выговорить в ухо советским коммунистам: вместо «кровавые последователи Ленина» передали «Советский Союз»; вместо «сколько народов, чужих и своих, будет перемолото и опозорено в той мясорубке» — «сколько людей погибнет при вторжении». Подменили меня, дипломаты нанюханые. Впрочем, начиная с Рейгана, радиостанция резко приободрилась.)

И ещё целый год потом мы с замиранием ждали этого позора и этой новой непоправимости в русско-польских отношениях. Но рвение польских коммунистов спасло русский народ от нового пятна и новых проклятий. Когда ввели военное положение Ярузельского — «Дейли ньюз» добивалась меня, требовала... подтвердить, что оно введено *специально*, чтобы испортить западное Рождество! — ну уж, оставайтесь со своим глубокомыслием сами. Но через месяц опять требовали от меня нечто вроде «это неприемлемо! я гневно протестую», — я сел и написал для французского «Экспресса» статью «Главный урок»^{***}: он в том, что коммунизм — интернационален, и в *каждом* народе есть *свои* прислужники палачей, не обязательно внешние оккупанты.

А ведь я после Гарвардской речи надеялся три года не выступать, держаться в стороне. Однако уже в конце того же 1978 соблазнил меня Янис Сапиет: от имени русского вещания Би-би-си предложил дать интервью по случаю 5-летия моей высылки. (Впрочем, в эти же самые недели: другая сотрудница русской секции Би-би-си, Сильва Рубашова, поздравила меня

* «Публицистика», т. 2, стр. 544.

** Там же, т. 2, стр. 546.

*** Там же, т. 3, стр. 7 — 10.

через эфир с 60-летием, — и за это едва не лишилась своего служебного места.)

Такое предложение — сразу потянуло. Чем более отвращался я высказываться для Запада — тем более рвалось сердце обратиться к своим. Да ведь и правда: пять лет как я не с ними, и лишён обратиться к ним, и ни одна русскоязычная станция давно не читает моих книг на родину.

В начале февраля 1979, как раз к годовщине, Сапиев приехал к нам. И сели мы записываться в библиотеке, где книги глушили эхо, а большие окна орамили безмятежный снежный лес.

И в этой обстановке говорил я — медленно, тихо, над беззвучно и бесповоротно утекающей Летой (как и испытывал над «Колесом»).

Сапиев предупредил меня заранее о темах беседы, и, кроме разве Папы Римского, они были достаточно все обращены к России, да это меня и склонило. И мне открылся простор времени рассказать и о своей работе. И, уже имея достаточно проверенные выводы о Февральской революции (совсем не на поверхности эти корешки для советского человека, мне самому не давались 40 лет, хотя это был главный поиск моей жизни), — я решился, может быть зря, опережая «Март» лет на семь, — дать эти выводы слушателям в Союзе прямыми, готовыми, — на много лет раньше остеречь от опасности, которая теперь-то выявилась мне самой главной опасностью нашего будущего: безответственный хаотический «феврализм». И — оборонить русское имя от недоброжелательности американской образованщины (к сегодняшней американской гуманитарной интеллигенции термин «образованщина» вполне подходит) и нашей новой эмигрантщины. И, дерзей того: пользуясь исключительным и первым за пять лет случаем — прямо по радио пытаться, по сути, найти уши тех, кто мог бы, при неизбежном сотрясении, не дать стране раскваситься в новой революционной анархии*.

Почему, всё-таки, я так никогда и не звал к революции в СССР, хотя это кажется единственно верным каждому действенному человеку, да ещё если с накалённым прошлым? Сперва — из высокого отвращения ко всякой революции (уже я нащупался её в нашей истории). Но с 1973, от «Письма вождям», стало решающим: надо сбросить коммунизм так, чтобы не погубить народ, а для этого — не революция, но переворот. С годами на Западе, видя всю злость к России, я ещё более утвердился в этом.

Я не мог говорить слишком явно, чтоб не отказалось Би-би-си передавать, — но и всё же ясно бы для понимающих. (А через полгода снова стали в СССР все иностранные передачи глушить.)

Я благодарен был Би-би-си, что допустили меня до этой беседы со своими соотечественниками. Самоуверенно я полагал, что такую беседу заслужил. Я совсем забыл об англо-саксонском правиле фифти-фифти: пятьдесят на пятьдесят; в духовной области это значит: перепахать поперёк и постараться разрушить всё кем-либо сказанное или сделанное. Вслед за моим интервью на такие же 45 минут Би-би-си пустило сперва трёх английских знатоков, с апломбом объясняющих, почему русский писатель не понимает русской истории, а они трое понимают. Затем — на следующие 45 минут — трёх «диссидентов», ещё раз нервно настаивающих, что понимают Россию именно они, а не я. Синявский повторял большевицкую агитку, что война 1914 была Россией уже проиграна к Февралю, а Плющ — что Февраль опоздал, а то бы спас Россию, — смех один. Синявский: что у меня советские убеждения, советское воспитание, что «мессианские претензии» Толстого и Достоевского были неопасны, ибо, якобы, мало кто за ними шёл, а фигура Солженицына болезненно опасна тем, что становится «руководящей». (Где? для кого? вздор какой.) Что я отношусь к Третьей эмиграции как советская власть, а потому что... *не терплю конкуренции*. (Вот где вырвался крик души, *табель о рангах* лишает сна.)

* «Публицистика», т. 2, стр. 483 — 504.

Я в этом интервью, действительно, довольно резко сказал о Третьей эмиграции и даже слишком подробно, что удивило моих друзей на родине: неужели надо было занимать этим драгоценное время? неужели эмигрантский вопрос имеет какое-то значение? Я сказал, что: уехав с родины добровольно и без большой опасности, «третьи» эмигранты обрели право претендовать влиять на будущее России, да ещё призывать западные страны к решению российских вопросов. А худшая их группа — и облыгает Россию, опять-таки с апломбом новейших свидетелей и знатоков пробиваясь в кресла западных экспертов по русскому будущему.

Да, на родине, под сапогом большевиков, это эмигрантское шевеление должно было казаться мелочью. Но здесь — не так виделось. Уже к тому времени, к началу 1979, я осознал как острую опасность: все советские мерзости лепят на лицо России. Когда выплясывали победу Октября — Россия была проклята за то, что ему сопротивлялась. Когда Октябрь провалился в помойную яму — Россию проклинали за то, что она и есть Октябрь. И в глазах всего мира теперь присыхает, что коммунистическая зараза это и есть русская зараза.

Во что разовьётся влияние Третьей эмиграции на западное общественное мнение — я долгое время не придавал значения. Я не считал достойным и важным отрываться от работы на внутриэмигрантскую полемику: это не могло иметь веса для русского будущего. Не задумывался, что эти сотни образованцев из новой эмиграции спешат внедриться именно в мозговую ткань западного общества — в университеты, в печатные органы, и что это несомненно удастся им по их духовному и программному сродству с Западом, а особенно с Америкой. Только в 1978 я заметил наглые статьи свежеприбывших советских журналистов вроде Соловьёва и Клепиковой, вдруг неправдоподобно, жонглёрски легко отринувших своё коммунистическое прошлое; затем прислали мне две книги Янова по-английски, уже густо, агрессивно антирусские. Они-то и толкнули меня к этому высказыванию по Би-би-си о Третьей эмиграции.

Но не пришло бы мне в голову начинать с ними борьбу за образ мыслей Запада, это заранее — их выигранное поле. А между тем они всё более обращали острей выступлений против России, русского сознания, а в частности против меня. В июне 1979 выступил Е. Г. Эткинд в парижском левом «Монде», ото всей эмиграции клянясь Западу в верности. «Восточная Европа», написал он, это звучит слишком хорошо как для самоварной, так и для сталинской России, верней говорить: «Западная Азия». Русские представления не изменились со времён генерала Дуракина (хороший, мол, типаж для русских). Недавние русские (это я) мечтают восстановить престол царей и византизм Третьего Рима. (Ах, я такую бы конкурсную работу предложил — «Третий Рим и Третья Эмиграция», вот не дожил Бердяев!) Русские аятоллы (это я) архаичнее иранских: они хотят даже не исламскую республику, но православную монархию (что, ясно, реакционнее). А вообще — религии только разъединяют человечество, соединяют же его нерелигиозные культуры.

Тотчас вослед (очевидно, сроки у них были согласованы, меня Максимов о том и предупреждал), в начале июля, дал и Синявский интервью «Монду». Оказывается, очень его беспокоят раздоры в эмиграции (которые он-то и раздувает), ибо, открывает он нам, и Гражданскую войну в России вызвали — что бы вы думали? — ссоры и споры (а не переворот большевиков). Солженицын, де, своим неодобрением эмиграции воздвигает барьер, мешающий людям бежать из современной треклятой России.

Через пару летних месяцев Синявский, однако, смекнул, что раздором-то он и жив, иначе его и вовсе не слышно, новых книг нет годами, — и вот в интервью швейцарской «Вельтвохе» заявил противоположно: что раздоры — признак здоровья эмиграции, это вход русского мышления из самодержавного периода в плюралистический, — иначе во имя единства нас заставят маршировать сплочённым фронтом, под предлогом, что «Солженицын — пророк, мессия России и всего мира».

Не ограничиваясь печатным, Синявский изустно, сколько сил, брызгал всем собеседникам и аудиториям, что Солженицын — монархист, тоталитарист, антисемит, наследник сталинского образа мысли, теократ. (Ну прямо в дуду с КГБ, ведь буквально этими обвинениями оно более всего и старалось сорвать мне активную политическую роль на Западе. Только зря, я и не собирался её играть.)

В ту же дуду не уставал Копелев в Москве надувать иностранным корреспондентам: Солженицын — с диктаторскими замашками, двойник Ленина, союзник Кремля, страшная опасность, а писатель — весьма ограниченных способностей. Через корреспондентов — это готовно перетекало дальше на Запад.

Тем временем и слабышка Ольга Карлайл, ещё не насыщенная своею книгой против меня и наскоком на Гарвардскую речь, напечатала в «Нью-Йорк таймс мэгэзин» статью «Оживление мифов святой Руси», обширную, с обильными фотографиями (иконы, Илья Глазунов, В. Осипов и я). Отстаивая своё — как внуки Леонида Андреева и приёмной внучки эсера Чернова — наследное понимание России, она предупреждала, что «всё большее число русских возвращается к шовинистическим традициям дореволюционной России», явный элемент этой волны — антисемитизм (к которому она сводит «Ленина в Цюрихе»), и это должно вызвать тревогу на Западе. (А в Соединённых Штатах «антисемитизм» — ещё острее словцо, чем в СССР «буржуазный наймит», только свистни.) Обширная надёрганная её статья была образцом охульной всячины, соскребённой изо всех углов и налепленной кряду: Москва — Третий Рим, славянофилы, театр Любимова, Письмо Вождям, размножение мусульман, Суслов — главный русофил в Политбюро, возрождение православия антисемитично, не стоит защищать арестованного Осипова, — а подтвержденье всему она находит в цитатах из Сахарова, Чалидзе, Турчина, Янова, жены Шрагина и Джорджа Кеннана... И кончала — иконным изображением Синявского.

Так уже с 1978 года это тождество, «Россия — антисемитизм», было основательно обряжено и на верхах американской единотканой прессы. То и дело в «Нью-Йорк таймс» с её приложениями и в других крупных газетах появлялись статьи, что возрождающееся русское национальное сознание есть прежде всего антисемитизм, а значит — хуже всякого коммунизма. А когда главные газеты дружно трубят в одно (а большей частью так и бывает) — это производит на американскую читающую публику (совсем не рядовых американцев) вполне обморочивающее влияние. За несколько месяцев было выдута настроенность, что не коммунизм грозит Америке, а русское национальное сознание. (И Огурцов с Осиповым. Игорь Огурцов, стоически высидев 15 лет, — но и в «Русской мысли» окончание его гигантского срока было отмечено лишь петитом — теперь брошен в усть-вымыскую глухую ссылку, совсем на исходе сил. А Владимир Осипов достаивает вторую восьмёрку.) Взятый тон с тех пор держится и годы. Вот недавно «Вашингтон пост» без зазрения напечатала карикатуру: Владимирская Божья Матерь — с серпом и молотом во лбу, советскими орденами на груди, а вместо младенца — на руках маленький Брежнев. Подпись: «Мать Россия»*. В Штатах недопустим расизм, но лить помои на Россию как целое и на русских как нацию позволяют себе даже и почтенные люди.

В ту осень, 1979, было модно на Западе ещё и ругаться аятоллой Хомейни (разворачивалась исламская революция в Иране), и вот зазвучали голоса, что православие в России — это всё равно что Хомейни в Иране (по количеству кровавых жертв? по бессердечности церковной диктатуры?). Какой момент! какое нестираемое вlepить клеймо на это православие, чтоб оно уже никогда не встало на ноги? А стиховед и эстет Эткинд не постеснялся в интервью с «Ди Цайт» в сентябре 1979 поставить православие в ряд с ленинизмом, а мне

* *The Washington Post*, December 14, 1980.

припечатать, что я желаю своей стране — получить аятоллу. Приём неглубоких умов — подхватывать тему с поверхности, — вот «хомейнизм» (и термин придумали они). Но и какая же злая изворотливость. И с этими людьми совместно — мы можем строить будущую Россию?

Весь этот быстрый антирусский разворот в мире показывал мне, что я, очевидно, засиделся, надо было выставляться против этой атаки раньше. Ответ мой созрел одномоментно: отбить от русских хотя б это клеймо! «Персидский трюк» — персидский порошок в глаза русскому человеку, едва встающему с ниц*.

Напечатал в нескольких европейских странах. Кажется, отбил: «хомейнизм» в иностранной прессе больше нам не лепили.

Только уныло-спесивый Чалидзе, ещё не зная о моём ответе, тащил клейкую кличку в Соединённые Штаты и разворачивал крупными буквами над двумя страницами своей огромной статьи в «Новом русском слове»: «Хомейнизм или национал-коммунизм» (два единственных выхода, оставшихся тем, кто озабочен русской судьбой).

Не стал бы я и петитом об этой статье вспоминать, если бы Сахаров вскоре печатно не признал первостепенной важности её. Подразвился Чалидзе от прежнего. Уже не ставит, как в первых лекциях своих на Западе, юридикзм выше этики. Однако «неразрывность прав и обязанностей» он отвергает, «должен признаться — у меня туманное представление о „внутренних обязанностях“... Что такое внутренняя обязанность?» (И кто бы подсказал ему: да голос совести!) Зато уверенно знает «идею прав человека, как она сформулирована цивилизацией» (и как она перекошенно докатилась теперь). Прежнее правозащитное движение, оказывается, защищало права *всего народа* (мы не заметили) — но доступно защищать только конкретные случаи, «которые сами о себе заговорили и дали информацию» (столичные диссиденты, еврейские отказники, баптисты — да ещё о гомосексуалах он знал в 1972 и поднимал вопрос на своём с Сахаровым и Шафаревичем Комитете прав), — а остальной народ как защищать, если он «не заговорил о себе» и не даёт информации? Откуда бы знать об обманутых рабочих? обокраденной провинции? об уничтожаемых деревнях? о замученных колхозниках? То и дело Чалидзе обнажает свои советские корешки: «моральное укрепление» советской власти после XX съезда, власть и дальше «меняется и может становиться человечнее», да и «ссылка на практику нынешнего коммунизма и его зверства не может опровергнуть теории Маркса» (так в марксизме: практика — уже не критерий истинности теории?), а неисполнимая «цель Солженицына — показать, что марксизм непременно приведёт [да разве ещё не привёл?] к концентрационным лагерям».

Но при этом же Чалидзе расчётливо оглядывается на Сахарова, и точно в тон ему, да даже его словами, предупреждает об опасности этого Солженицына: «ситуация может стать опасной». А дальше — чего уже Чалидзе на меня не навирает! — и фашистская диктатура в Испании (будто я был там при Франко и подбодрял); и будто я требую от Запада энергичной физической поддержки антикоммунистических сил в СССР; и наоборот же: «вся страсть его речей на Западе обращена к людям в России», а не к Западу (разберись, кого ж я именно убеждаю); и Третий Рим; и что написал Курганов в 1957, Орехов в 1976, и совсем уж никому не известный Удодов, — всё это на меня; и уж конечно антисемитизм; и бессовестный передёрг с крымскими татарами, будто я им враг. Уже привыкли к моему молчанию и вывели, что можно на меня плести любую околесицу, пройдёт. (И с той же обречённой спесивостью Чалидзе будет ещё три года перепечатывать эту свою звёздную статью — в «Континенте», и в разных местах, и отдельными изданиями, то по-русски, то по-английски, где ретушируя, где подрисовывая.)

Но и на том не успокоились наши диссиденты. Ещё через месяц, в ноябре 1979, в твердыне американского радикализма «Нью-Йорк ревью оф букс» на драматическом красном фоне, во всю страницу обложки жирными чёрными буквами распечатано: «Опасности национализма Солженицына». Это было

* «Публицистика», т. 2, стр. 511 — 512.

обширное интервью нашедшей друг друга наконец пары: всё той же выдвигенки Карлайл всё с тем же Синявским. Мнение русских о себе, сказал он, приобретает шовинистический оттенок. И первая тревога: возрождается антисемитизм на всех уровнях. Беспокоит его жажда русского изоляционизма и видения теократического государства. И беспокоит его, что внутри эмиграции, хотя многие разочарованы идеями «Телёнка», «Из-под глыб» и Гарвардской речью, — щадят Солженицына, боясь критиковать его. — Карлайл: Так прежде в Европе закрывали глаза к росту фашизма из-за страха перед коммунизмом. — Синявский подтверждает: От Солженицына много опасностей впереди. В его авторитарном обществе не будет места ни свободной прессе, ни интеллигенции. «Грубо говоря» (любимый приём Синявского — «беря в грубых чертах», без середины и оттенков), Солженицын хочет всю Третью эмиграцию расстрелять. — Карлайл — в ту же тягу, с надеждой: Думаете ли вы, что Солженицын — антисемит? — Синявский: Не в частности, но психологически. Новое русское националистическое движение с неонацистскими оборотами приобретает форму при участии Солженицына.

«Неонацистскими!» — куда же дальше? Чтобы советскому читателю лучше представить: вот такое интервью в Америке — всё равно что статья в «Правде»: смерть диверсанту, закланию врагу народа! Так Синявский делал всё, чтоб отсечь меня от страны, где я поселился. К тому ж после Гарвардской речи меня в американской прессе можно было поносить вполне беспрепятственно.

И Эткинд усвоил новую установку Синявского: да, наши споры — это благодетельный плюрализм. И тут же продемонстрировал его несколькими передёрнутыми лжами против меня по поводу «Ленина в Цюрихе».

Если им не сочинять за меня мою философию, то слаба будет их позиция в споре. Я призывал ко взаимной уступчивости наций, даже ко взаимному раскаянию и великодушию («Из-под глыб»), — они бесстыдно врисовывают мне в руки топор.

И всё ж я безотзывно продолжал бы работать, если бы шло только обо мне; со мной — всё станет на место со временем. Но и новодемократам из Союза и всей радикальной рати американской прессы не столько отвратен я, как в моём лице — русская память, русское сознание, выходящее из обморока.

Это открылось мне тут горькой неожиданностью, острой болью и несправедливостью. Живя в СССР, не устанешь возмущаться каждым шагом лжи и насилия коммунистов. И это заслоняет остальные мировые проблемы и перспективы. И вдруг на Западе услышать как будто же от верных союзников — огульные порицания не СССР, а исторической России... Стало быть: хоть жизнь положи, чтобы упредить Запад от впадения в коммунизм, и преуспей в этом, — тем неблагодарнее утвердится на Западе мнение: какая же скотина русский народ, что не мог удержаться от коммунизма, вот мы же, дескать, удержались. Только крепче будут лаять на Россию?

Ведь уверен я: большевизм — обречён. На разоблачение его я поработал достаточно, но вот уже и много сил Истории направлено на то. А мне бы — уже не на большевизм тратить усилия, а как помочь будущей России возродиться, и возродиться чистой?

Новые исторические конфигурации складываются много заранее, чем придут в действие. А люди долго ещё не успевают различить их и разобраться.

Однако же что-то я инстинктивно чувствовал. Когда в «Телёнке» в 1971 уделил непропорционально много места спору между «Новым миром» и «Молодой гвардией» — я и сам удивлялся, почему чувствую так необходимым. Но ощутил и выбрал сторону, не сознавая, как этот раскол надолго теперь.

Русская земля не только захвачена большевиками, но густо посыпана от прошлых десятилетий отгоревшим освобожденческим, ревдемократическим и социалистическим пеплом. И, выбиваясь из-под ног захватчика, ещё долго вдыхаешь этот пепел, не замечая. Так и я, считая коммунизм безоговорочным и даже единственным врагом, долго совершал кадетские прихромки, в том же «Круге», в первом издании «Архипелага», это было рассыпано там у меня.

Я не предвидел никакого расщепления противобольшевицкого фронта. И хорошо, что не предвидел, — это давало мне цельность и неукротимость атаки на советскую бетонную крепость — и с тем большей уверенностью меня поддерживала образованщина советская и западная. Без этого не вышло бы победного боя против коммунистов. От моего недоразумения — само складывалось наилучшее тактическое сочетание для битвы со Старой площадью и с Лубянкой. А незримо для меня уже пролегла пропасть — между теми, кто любит Россию и хочет ей спасения, и теми, кто проклинает её и обвиняет во всём происшедшем. Эту, мне ещё непонятную, обстановку вдруг, первым лучом, просветил «Август», напечатанный в 1971. Хотя то был патриотический (без социализма) русский роман — его бешено ругали и шавки коммунистической печати, и журнал национал-большевиков «Вече», — а вся образованская публика отворотила носы, пожимала плечами. «Август» прорезался — и поляризовал общественное сознание. И приоткрыл мне.

А ещё через два года я интуитивно, на ощупь, сам для себя внезапно и ни под чьим влиянием, в одинокий день в Рождестве-на-Истье, протрезвился до «Письма вождям». В лагерное время мы только и мечтали о революции в нашей стране, и потом долгие годы по инерции я оставался в том же чувстве, — а вот открылось мне, что спасение наше — только в эволюции режима, иначе всё у нас разрушится окончательно.

И как враждебно было встречено это «Письмо» на Западе и нашими либералами, как и каждое попечение о России, моё или чьё-нибудь, — открывало мне глаза и дальше. Зубы русоненавистников уже сейчас рвут русское имя. А что же будет потом, когда в слабости и немощи мы будем вылезать из-под развалин осатанелой большевицкой империи? Ведь нам не дадут и приподняться.

По сохранившейся датированной записи 28 июня 1979 года я вижу, что понял проблему уже тогда. Записал: «Постепенно, с годами, к 1978 — 79, выяснился истинный смысл моего нового положения и моя новая задача. Эта задача: отстояние неискажённой русской истории и путей русского будущего. К извечным врагам большевикам прибавляется теперь и враждебная восточная и западная образованщина, да кажется — и круги помогущественней. И поэтому я тут, в Америке, оказываюсь не на подлинной свободе, но опять в клетке. Моя свобода в том, что меня не обыскивают и я могу писать что угодно впрок, но напечатаются даже Узлы — с сопротивлением».

Прошло ещё три года — и почти могу повторить.

С какой дружной яростью накинулись на первые слабенькие ростки возрождения русской мысли. Нам и выбора не оставляют.

Так вот как? Распалил я бой на Главном фронте — а за спиной окрылся какой-то Новый? Сумасшедшая трудность позиции: нельзя стать союзником коммунистов, палачей нашей страны, но и нельзя стать союзником врагов нашей страны. И всё время — без опоры на свою территорию. Свет велик, а деться некуда.

Два жорна.

В реальной войне бывает так: там, где вчера невозможно было даже ползти, всё затаённо зарылось в землю, и только смертоносный огонь подметал местность ото всего живого, — после тяжёлой артподготовки и прорыва — вдруг в проделанные разрывы колючей проволоки, между воронками, опустевшими вражескими бронеколпаками и блиндажами, по вчерашней жуткой неприступной полосе — валит, валит во весь рост второй эшелон и тыловая челядь, валит как по бульвару, как будто тут и не стояла никогда огнесмертная полоса.

Так теперь и я — глаза протираю. Десятилетиями я ощущал себя, может быть, единственным горлом умерших миллионов — против главного нашего всеобщего Врага. Таился, готовился, потом бился, и положил все свои жизненные силы, и едва не саму жизнь, и рвал ту Твердыню подкопами, конспирацией, «Иваном Денисовичем», «Кругом», «Корпусом», «Архипелагом», — а

оказалось? что я только проложил проезжую дорогу для образованщины. Хлынули в этот прорыв и тут же освоились, будто никакого прорыва и не сделано, да и не нужен он был, и Главного Фронта даже не было. Изжито, забыто, и пиво не в честь.

Вот, вольно бродят на открывшемся просторе, — да какая масса уже их, и приезжих-переезжих, и как быстро освоились тут, — и на Западе своих таких же сколько. И главное, что всем мешает и отвратительно, — это вечная, непоправимая и мерзкая Россия, от которой-то и нет никому жизни на Земле.

А как могло такое сложиться?

Издавна и ото многого. И от того, что государство Россия громоздилось невообразимой, как бы угрожающей величины, и столь природно богатое. От пугающих сказок, которые рассказывали сперва редкие посетители иностранцы. Потом — от избыточной, неосмысленной военной активности России в Европе — при Елизавете, Екатерине, Павле, Александре Первом, Николае, — да чаще-то и активности не завоевательной, а глупо-бравадной или даже батрацкой в угоду чужим тронам и чужим республикам. И ошеломительной победой над мировым завоевателем Наполеоном, хотя за ней и не последовало корыстных захватов. (Какой сгущённой ненавистью к России Европа ответила в Крымскую войну.) И тем, что Россия была и всегда держалась *особой* и по вере, и по традициям, по складу жизни. И во многом оттого, что во всё предреволюционное столетие царская власть самозабвенно плавала в небесах, не научаясь урокам *публичности*, развившейся в цивилизованном мире, — не догадалась или не снизошла использовать её для общественной защиты и объяснения своих действий: да, мол, нужно ли оправдываться? да перед кем? И за всё столетие какие обвинения ни формулировали против России и какие небывлицы на неё ни лепили (а на пороге XX века недоброжелательность ещё раскалилась) — всё, всё прилипало, наслаивалось, присыхало. По пословице: и борзые облаяли, и воробны ограяли. (Зато большевики единым прыжком вспрыгнули тут — до расслабления западной общественности и ведущих умов Запада.)

А ко всему тому нарастала — особенно в начале XX века — грубость и неумелость русских публицистов право-национального направления. Они не давали себе труда спорить терпеливо, оттеночно, нет, срывались к топорности, а то и к брани. От отчаянного ли видения, что вся Россия уплывает «куда-то не туда», и от беспомощности, неумения исправить это, — они лишь укреплялись в своей глухой круговой групповой правоте: думай *точно*, как мы! громко кричи — *как мы!* — а чуть иначе — ты не наш, ты продался, ты враг России! Их современник В. В. Шульгин, тоже националист, но с умом и тонкостью, так написал о них однажды: «Им безразлично, кого и за что грызть, было бы мясо на зубах». Почти неправдоподобна, но и как же характерна сила ненависти правых русских националистов к спасителю России Столыпину. (Да и скольких русских писателей отторгли и заклили так же.)

Потом — и умеренных, и крайних националистов — всех закатал большевицкий коток, больше в землю, кого — к долгому-долгому молчанию. А когда ростки разрешились — они были оранжерейные, под наблюдением зоркого огородника, и должны были тянуться только к солнцу багрово-красному.

Так — и потянулись многие. Слабость слабых: прислониться к сильному плечу. Первый же самиздатский национально-русский журнал, осиповское «Вече», был преисполнен симпатии к власти своих же губителей, писал «бог» с маленькой буквы, а «Правительство» с большой. Открывал нам, что «коммунизм зато создал Великую Державу», «русский коммунизм — это особый путь России», колхозы — это традиционное «русское общинное братство». И что на самом деле у этой власти «идеология уже не играет никакой роли». (Поразительное и *точное* совпадение с формулировкой Сахарова! Крайности обречены

сходиться.) Так русский национализм дал себе слабость перескальзывать в национал-большевизм. И сегодня от пресловутого Геннадия Шиманова (с которым меня все Синявские-Яновы как не переплетают и вяжут) мы слышим, что нынешний советский строй — это и есть готовая «православная теократия». Все такие болезненные искажения родились как реакция на полвека антирусских гонений.

Нет! Русский патриотизм от самого 1918 был *антисоветским* (как и ленинцы ещё раньше настойчиво заявляли себя *антипатриотами*). Но из-за таких-то сорванных голосов слово «русский» стало тем более распухать не в ту сторону — и из-за них стало проклинаться и запрещаться всякое и чистое выражение русской боли.

А ещё и такие народились русские националисты, которые рванули отречься и от христианства: «христианство размягчает боевой дух», «христианство — троянский конь иудаизма». (А давно ответил С. Н. Булгаков: «На одном национальном принципе не может утвердиться великая нация».) Эти — зовут нас в беспамятство, в новое язычество, либо готовы перенять хоть и любую веру из Азии.

А ещё ж не дремало подтравливать и ЦК-ГБ: эти всплески безудержного национализма подталкивало, поджигало в антиеврейские вспышки — и перед всем миром благородно разводило руками: ну вы же видите! ну кто другой с этим буйным антисемитским национализмом сумеет совладать! вы же видите: всему миру будет лучше, чтобы крепилась коммунистическая власть.

Да, прошли мы (и кто постарше — крепко запомнил) через десятилетия жестоких антиправославных и антирусских гонений. И надо иметь высокое сердце, чтобы не отдалиться ни мести, ни ненависти, не кинуться ни в надутое трубление, ни в мелочное глумление. (Однако — и не в такую же безоглядную православность, когда, во вселенскости, уже становятся равнодушными к национальному бытию своего народа.)

Увы, понятый так строительный национализм — ещё не выступил у нас ощутимо.

А дело — сделано: по всему миру внедрилась, проросла, окопалась несправедливая неприязнь к России. (А как любили нас четыре года войны против Гитлера...)

Чужая сторона — дремуч бор.

Из России наши кое-кто удивляются: да что это я взялся так воевать за русское имя перед иностранцами? Ф. Светов публично советует: не надо за Россию оправдываться, а нужно за Россию раскaiваться. Да я и сам так думал всегда, так и делал, «Раскаяние и самоограничение»... (И лично за себя — всегда хотел бы так и продолжать, хотя обливовщики мои оравую злорадно тычат и язвят в каждое моё признание.) Но надо потолкаться на западном газетном базаре, чтобы понять: нет, *именно сейчас* — надо вступаться за Россию, а то затравят нас вконец. Россия оболгана уже, оказывается, столетиями, и не должен нам отказать инстинкт самозащиты. Каяться нам, ой, есть в чём, нагрешили, — однако и не перед американской науськанной журналистикой каяться. (Давние эмигранты давно это и усвоили.)

Ну, пусть, можно понять, почему жила в Европе нелюбовь к имперско-монархической России, враждебной всем европейским революциям. Но отчего так ожесточились на всё *русское* — теперь, когда любимая Западом левая идея победила в России, а народ наш — в крайней слабости, даже, может быть, в предконечной гибели? Даже наших смертей и страданий за эти 65 лет не признаёт? Потому ли, что опять держится империя, хотя коммунистическая? — но от неё-то мы и гибнем, она-то нас и высасывает.

И подбавляют жару наши соотечественные наследники тех говорунов, которые уже один раз, в начале века, погубили Россию и теперь замахваются

догубить её ещё и в конце века. Да они давно привыкли, что русская патриотическая сторона в споре с ними слаба: она без чувства меры, без взвешенности, — неумеи спорить на высоте.

Уже один раз я отстаивал Россию на войне — а по сути в укрепление большевикам. Не хочу второй раз воевать и силиться — в укрепление хозяев ещё новой масти. Они так и ждут накинуться на освобождённую для них страну — и управлять ею: через газеты, через мысль, через парламент из депутатов не земских, ну и через капиталы, разумеется.

Вот Аксель Шпрингер который раз зовёт (и приезжал к нам), удивляется моему вдруг политическому бездействию после столь славной борьбы — да почему не еду произносить горячие речи, в Западный Берлин? Не объяснишь ему, как это теперь для меня вдруг устарело. Итак: роман пишу, исторический роман.

Да счастливо судьбою определилось, что, по моей основной тяге, мне и надо замолчать; гнать дальше «Красное Колесо». Этого многолетнего молчания, бездействия, малодействия — и нарочно бы не выдумать. Оно есть — и лучшая физическая позиция в определившемся расположении сил: ведь я почти один, а противников множество.

Я ушёл в «Красное Колесо» с головой, им заполнено всё время, что не сплю (и ночами просыпаюсь от мыслей, записываю). Вечерами допоздна сижу над воспоминаниями стариков, уже кончаю сплошной перечень присланного ими. Над многими их страницами, иногда уже почерками искривлёнными, царапающими, испытываю душевный захват: какая сила духа у кого к 80, у кого к 90 годам, сила духа, не сломленная 60-летними унижениями и нищетой эмиграции, — и это после тяжкого поражения в Гражданской войне. Богатыри! И сколько драгоценного сохранилось в их памяти, сколько дали они мне эпизодов, эпизодов для осколочных «фрагментных» глав, — да без них откуда б я это взял? всё бы кануло.

Когда в первой редакции уже составил, обеспечил огромный объём четырёхтомного «Марта» — *собственно* Февральской революции, — отвалился назад, к «Августу» и «Октябрю», доводить их до окончательности, тоже немалая работа, ибо за 3 — 5 лет, сквозь архивы и воспоминания, — столько новых углублений я испытал в ткань событий, многие места требуют ещё и ещё работы, менять, переписывать. Да, понимаю, что я перегружаю «Колесо» подробностями исторического материала, — но именно он-то и нужен для безусловной доказательности, а клятву верности романной форме я не давал.

Страшно вот: пожар в доме? и рукописи за 10 — 12 лет — вся моя жизнь и душа — сгорят? И когда с весны 1981 Аля взялась за прямой набор «Августа», чётко провела, и отослала в типографию, а с весны этого года взялась и за «Октябрь», — какое облегчение души! От пожара спасти — даже ещё важней, чем издать, хотя и издавать давно пора.

Вся слитность, целостность нашей с Алей жизни — в этом неотклонном ходе работы. И — ни на какую бы суету не отвлекаться, не отвлекаться!

Но как бы не так! Неужели у большевиков зубы отупели? Неужели они дадут ослабить свой Фронт? В это самое время, в конце 1979, ожесточились в СССР гонения на православных (синхронно с западным их посрамлением!): в ноябре арестовали отца Глеба Якунина, общину Огородникова, Христианский комитет защиты верующих, — а в январе 1980 и отца Дмитрия Дудко.

Арест отца Глеба и решил, что пора мне действовать, бить. Бить — в прежнюю Морду, известную.

Однако и сложность такой я не испытывал ещё никогда: надо тут же, в тех же строках, попеременно, начать теснить и другого противника, со всех сторон нападающего на Россию с ложью. Хоть какое-то пространство вокруг стержня русской истории оградить от их лжи.

И так я задумывал большую статью. Как всегда в сложных случаях, составлял Весы: «за» и «против», печатать ли.

Против. Ещё нет края, можно подождать, с кардинальными разъяснениями ещё успеем. И читателя на родине не обогащает, для него — вообще непонятная свалка. И опять мне отрываться от «Марта», и опять напрягаться в несвойственном жанре. И нельзя так частить шагами, только что дал «Персидский трюк». И — опять апеллировать к тем, чьего страха перед возвратом русского самосознания — видимо, не успокоишь, не убедишь?

За. Не могу уклониться от внятного оправдания исторической России от клевет, — кто ж это сделает сейчас на Западе за меня? И очиститься надо от «нацизма», который нам лепят. И лично мне — объяснить мою позицию правдивей, всё, что налепили ещё с Гарвардской речи. И отгородиться от «теократии», которую мне всё навешивают. И заодно осадить этих модных «информаторов», клеветников на Россию, безнаказанно треплющих западное внимание. И — американских дутых профессоров-«советологов». Советологи! — уродливая категория западной науки: сколькие, не испытавши несравненного подавительного советского опыта, — громоздят комические диссертации и экспертизы.

Решил — писать: «Чем грозит Америке плохое понимание России». А публицистические статьи мне стало писать труднее всего: неблагоприятно расходуясь в них. Снова — мёртвый язык (под перевод, под обращение к американцам). Чужая аудитория.

Много задач, а кажется — улеглось и удалось. Только очень уж не хотелось в «Нью-Йорк таймс». Том Уитни и Гаррисон Солсбери, приезжавшие к нам, посоветовали: в «Форин Эффэрс», ежеквартальный толстый журнал по внешней политике. Оказался хороший совет, не раскаялся я потом.

Но в самый разгар писания этой статьи — прикатило внезапное предложение журнала «Тайм»: напечатать у них полторы тысячи слов. Заманчиво! — 6 миллионов экземпляров? — читает весь мир, кто только может по-английски. Нельзя отказаться. Но и не хочется отвлекаться. И как же это теперь вырезать из статьи для «Форин Эффэрс»? (Две статьи сразу в голове не растут.) Но как раз динамичный шаг: защитить Россию сразу перед необъятной аудиторией. И так — надёжней повлиять на американцев. И обличать близорукость их союза с красным Китаем, — новый горячий призыв против всякого вообще коммунизма. Значит, снова и снова привычный Главный фронт.

Как-то — удалось. И вся эта уравниловка разнонаправленных стрел. И один и тот же материал подать сразу на двух этажах, на двух высотах: для массы («Коммунизм — у всех на виду и не понят») и для государственной элиты.

Как я выгадывал спокойные годы для работы! Как я хотел бы не высываться три-четыре года! — не дали. «Тайм» напечатал в феврале 1980*, «Форин Эффэрс» в начале апреля**.

Заодно уж взялся ответить и старому парижскому коминтерновцу Суварину. Против «Ленина в Цюрихе» он тотчас тогда и взыграл по боевой трубе, в защиту своего прежнего вождя: вопреки открытым же теперь документам отвергал, что Ленин получал немецкие деньги, ещё более отвергал и сам психологический тип Ленина, как я его даю, и вообще ни в чём грязном Ленин не замешан. Старое коминтерновское мироощущение неискоренимо. А для французского читателя Суварин — уже патриарх социализма, «лично переписывался с Лениным», написал книгу о Сталине, уж он-то знает, чего не могут знать современные молодые! И напал на мою книгу, напал с передержками, с передёргами, а особенно взволнованно — по национальности Ленина: чтобы вершить дела России, совсем не нужно носить в себе русскую кровь. (Да, конечно, но русский дух — обязательно! А его-то у Ленина и не было.)

Эта язвительная и очень пухлая статья Суварина, оказывается, была издана в его собственном журнальчике в Париже ещё весной 1976. Но я как раз был в Калифорнии, в заглоте подготовки к «Марту», потом сидел в Пяти Ру-

* «Публицистика», т. 1, стр. 329 — 335.

** Там же, стр. 336 — 381.

чьях, под стук строителей писал столыпинский том, тут и семья приехала, осваивались, — в тот год никто из нас и не обратил внимания на эту статью, насколько она вредна. Я её заметил по кусочному (и предвзятому) переводу в журнале «Время и мы» — и взгорячился отвечать. И. А. Иловойская сделала мне полный перевод суваринской статьи в начале 1978. А уже вроде и глупо отвечать через два года. Отложил. Однако — жгло: слишком заядло он захватил российские вопросы. И хотя позорно поздно, через четыре года, но теперь с разгону — я написал ответ и Суварину*.

Статья в «Тайме» не вовлекла меня в дальнейшие споры, хотя были отклики. (И такие, от старых русских эмигрантов: как это «коммунизм не понят», если западные воротилы прекрасно его понимают отначала, и долго он их даже устраивал?)

Зато с «Форин Эффэрс» — не развяжешься. Обиженные американские профессора и американские вовсе дуралеи — посыпали ответы в два следующих квартальных номера. Ивана Грозного они охотно вспоминают; а вот тут, в начале XX века, кто и как конкретно подготовил и провёл изобретательный революционный террор, — давайте всё забудем и спишем на дурные русские традиции. И редакция теперь приглашала автора отвечать, — и как же уклониться? А до чего обидно — тратить силы, бултыхаться в этой радикальной пене трёхвекового просвещенческого вырождения, продираться через лес холодного непонимания (ибо им не вообразить советской как бы подводной обстановки, а они судят с суши), — да чтобы этих же самых мудрецов предупредить об истинной опасности.

И летом 1980 пришлось опять бросать «Март» и напряжённо включаться в навязанную полемику**.

Действительно, старики-эмигранты правы, не могут западные специалисты настолько сплошь заблуждаться, чтобы не видеть зла и грозной опасности коммунизма. И мне и противникам было ясно, что спор идёт не о прояснении истины о коммунизме, они в каждой строчке кричали: «Надоела нам ваша Россия, мешает!»

Обе мои статьи в «Форин Эффэрс», соединённые в отдельную книгу, вышли в Штатах, потом и в Англии, и во Франции.

А Суварин — тот, конечно, само собою ввязался в спор. Я — ответ ему («Истуар»***), а он мне — новый ответ к осени, уже третья его статья, да у него время не нагруженное, как у меня, он может и до десяти раз спорить. (Но этот фронт — противокommунистический, на него перья есть, и в «Русской мысли» уже другие за меня доспаривали.)

Да и без общественных выступлений в эти два года не обошлось.

Ныло сердце об Игоре Огурцове, стойко отсиживавшем уже 13-й год заключения. В новейшее время никому так не досталось, однако судьба его как «русского националиста» мало кого интересовала на Западе. Эмигранты-диссиденты так и распространяли о нём: «по советским законам он сидит заслуженно», — а стало быть, не надо о нём и хлопотать. Не хотелось мне обращаться к американской администрации (никогда не обращался до того) — но решил послать письмо президенту Картеру [2]. Эффекта не было, конечно, лишь отписка из канцелярии.

Одновременно послал письмо двум видным сенаторам-демократам, Джексону и Мойнихену, оппонентам Президента. Но не состоялась помощь и от них. Хотя Мойнихен сочувствовал, и даже приезжал к нам, — а всё прошло беспоследственно.

В сентябре 1979 в Вашингтоне собралась 3-я сессия Сахаровских слушаний. Написал я обращение об Огурцове, Аля поехала и прочла там****. Разумеется, тоже последствий не имело. (Кроме враждебных.)

* «Публицистика», т. 2, стр. 513 — 518.

** Там же, т. 1, стр. 382 — 405.

*** Там же, т. 2, стр. 541 — 543.

**** Там же, стр. 508 — 510.

А ведь каждый раз надо искать новые сильные и свежие слова, это трудно пишется.

А тут — моя 90-летняя теперь тётя Ира, много влиявшая на моё воспитание в детстве. Аля звала её с собою из Георгиевска за границу, когда семья собиралась ехать вслед за мной. В тот момент выезду тёти препятствий не было, но тогда она отказалась, боясь переезда. А затем всё слабела в одиночестве, и в своих ужасных условиях слепла, гложла — и попросилась, чтоб мы её взяли теперь.

Задача нелёгкая, мучительная: мне, отсюда, — и обращаться к советским властям? Но надо. Стали действовать через Государственный Департамент США: послать вызов от меня в СССР тётю Ире. Анкеты, анкеты. Послали. Всё ж я думал, что отпустят. И ошибся: отказали! Просто, наверно, из дрожи злости к моему имени, лишь бы — мне поперёк! Оставалась 90-летняя умирать в конуре.

Но — мне стыдно было поднимать мировой теле-газетный шум из-за своей семейной истории, как другие не стесняются; стыдно кричать, что вот держат *заложницу*, — когда и весь мир болен, и на родине несчётные страдальцы в лагерях. Невозможно заслонять большие всеобщие вопросы своими личными. Всё же через знакомого русского американца, корреспондента Данилова, послал маленькую заметку в «Вашингтон пост» — «Империя и старуха»: ещё крохотный, но разительный пример, как имперские мужи отыгрываются на старой женщине, держат в конуре без водопровода, без уборной, без электричества, без ухода и без пенсии, и не дают мне купить ей в СССР квартиру — и не отпускают её ко мне, и даже пресекают нашу переписку с ней. Правительство великой державы не брезгует мстить 90-летней старухе за то, что её племянник не воспитался в духе марксизма.

В переложении и с сокращениями — заметка появилась в «Вашингтон пост». Но никакого, разумеется, впечатления ни на Запад, ни на Восток.

Тем временем наши друзья перевезли тётю в Москву, к Диме Борисову. (И вослед в Георгиевске — опоздавшая милиция с допросами: кто увёз? куда? применяли при том насилие?) Дима писал от её имени заявление в Президиум Верховного Совета — отпустить к племяннику, — всё без толку. Тогда, в декабре 1979, клоня свою голову, я решил дать телеграмму новой восходящей звезде:

«СССР, Москва, Старая площадь, члену Политбюро ЦК Константину Черненко. — Советское посольство Вашингтоне сообщило категорическом отказе моей единственной родственнице Ирине Ивановне Щербак визе выехать ко мне в Соединённые Штаты тчк неужели мало всего оглашённого позора чтобы ещё добавить произвол над девяностолетней слепой глухой скрюченной бездомной старухой вопросительный дайте указание отпустите старуху не вынуждайте меня оглашать».

И — что ж ещё оглашать?..

Разумеется — молчание. Как могут эти крохоборцы в чём-нибудь уступить, если доступно нанести вред Солженищину?

Судьба тёти тяготела на мне: 17 лет из-за работы, конспирации и борьбы я не сумел убедить её расстаться с привычным Георгиевском, переехать к нам поближе, и устроить её получше. Летом 1971 уже ехал к ней — на пути ожог*, и вернулся с дороги. Всю жизнь я платил только общественные долги — ну хоть теперь-то, наконец, заплатить личный? И вот — прибегаю к необычному для меня телефону — да ещё куда? — звоню консулу в советское посольство! Убеждаю, предупреждаю: все выиграют, если отпустить старуху без шума, за чем она вам?

Всё, конечно, зря. Не отпустили.

* Спустя 20 лет открылось: покушение ГБ на меня в Новочеркасске, см. в «Телёнке» Приложение [46]. (Примеч. 1993.)

А ещё через несколько дней — выслали Сахарова из Москвы. Терпели-терпели, клокотало у властей уже давно, но последнее сверхотважное заявление учёного против ввода войск в Афганистан — под грозный размах этого события и попало: всё равно будет взрыв мирового гнева, так заодно.

С каким чувством поехал он? Ведь не просто схватила и поволокла бульдожья челюсть — но под Девятый Вал большой войны. Так — и схоронят заживо?

А вскоре за тем дошло до нас, раскрупнейше было напечатано, — последнее перед ссылкой заявление Сахарова, от 18 января 1980, как бы завещание на эту пору. И — о чём же? О статье Чалидзе! — вот об этой лукавой, виляво состроненной статье, с подтасовками, с советским прононсом, — только за то, что она против русского национального сознания и против меня? — находил Сахаров «её опубликование целесообразным», она «в стиле серьёзной и хорошо аргументированной полемики», «талантливая дискуссия, очень важная для всех»...

Сахаров?

Его дивное явление в России можно ли было предвидеть? Я думаю: да. По исконному русскому расположению — *должны* пробирать людей раскаяние и совесть. И какой бы корыстный ни стянули правящий обруч на шею России, как бы они все там ни ожесточили, ни заелись, ни забылись, — но время от времени должны оттуда выбрасываться ошеломлённые, очнувшиеся, раскаявшиеся сердца. По упавшему качеству этого слоя — не столько, сколько вырывались из дворянского благополучия, но всё же! И такие случаи (не беру в расчёт партийных беглецов от расправы) уже были не раз: Виктор Кравченко, Игорь Гузенко, Анатолий Федосеев и менее известные невозвращенцы. А вот — дошло и до слоя академического. Новизна помягчавшего времени вместе с научными размерами Сахарова и его атомными заслугами перед родиной — дали ему возможность совершить свой подвиг-переход у себя в стране.

Да, это — по-нашему! И я, например, при своём оптимизме, всегда так ожидал: проявятся! появятся такие люди (я думал — их будет больше), кто презрит блага, вознесённость, богатство — и попутствует к народным страданиям. И — какие возможности таились бы в таких переходах!

Трудней было предвидеть состав мирочувствия такого человека, — хотя лишь по кустости нашего зрения, а задним-то числом распишешь легко. Из какой почвы ему подняться? Не только полвека прокатанной, укатанной кровавым катком большевиков, но и перед тем ещё полвека опрысканной, как вытравителем, — освобожденческим презрением к составу российской истории. И именно из такой среды, столичной интеллигенции, Андрей Дмитриевич и родом. По семейной атмосфере он вырос на щедрой интеллигентской «всечеловечности» и верен ей исключительно последовательно, — и взнесенный к Нобелевской премии, и вот теперь низвергнутый в ссылку. По опыту же своей юности он вырос на «советском интернационализме», впитал и его (да гуманистические корни — одни и те же), и при всех потом разочарованиях в советской системе — от этой стороны идеологии тоже не мог оторваться. Он так прямо и пишет, что даже мысль о нации, всякое обращение к нации, а не к отдельному человеку, считает философской ошибкой.

Затем собственная жизнь Сахарова на технической службе государству вряд ли оставляла ему просторы для исторических и социальных размышлений («сверхсекретность и сверхнапряжение, в которых жил 20 лет», «более 20 лет в этом фантастическом страшном мире», его слова). Всё это сочеталось и с общесоветским принудительным незнанием русской истории. Ни в чём когда-либо им сказанном или написанном не просквозила память, что нашей истории — больше тысячи лет, этого воздуха у Сахарова нет. Все его исторические анализы начинаются от хрущёвского периода или от конца сталинского, не глубже по времени. Он воспринимает так, что «контуры важнейших современных проблем впервые обрисовались» после Второй Мировой войны, — тогда как проблемам этим, кроме разве экологии, по меньшей мере столетие, а каким и два, и три.

Естественное состояние Сахарова в кругу представлений физики — при переходе в область социальную не успело дать ему своеобразной общественной идеи, но склонило к сильному преувеличению роли технического прогресса. Его мировоззрение составилось из наследственных гуманистических (антропоцентрических) идей, с которыми мировое общество таким уязвимым вступило в XX век. Немудрено, что Сахаров и подписал (в 1973, среди малоизвестных трёхсот человек) размашистый Гуманистический Манифест II, сводящий этику к человеческим *интересам* и специально заострённый против всех религий (хотя Сахаров тут и сделал оговорку, не слишком сильную). В остальном же содержались в Манифесте всё любимые идеи Сахарова: бесконечный научный прогресс; всеобщее универсальное (понимай: вненациональное) образование; перешагнуть за пределы национального суверенитета, единое мировое законодательство; наднациональное мировое правительство; экономическое развитие не должно оставаться в компетенции нации. (То есть чтобы нация и вообще не распоряжалась укладом своей жизни.)

Так и по последний день (1981) мы получаем от Сахарова всё ту же идеализацию технического прогресса, всё тот же идеал будущего: «научно регулируемый всесторонний прогресс», — ещё один учёный соблазн: возьмутся ли «научно всесторонне регулировать» как искусство (мысль Сахарова 1968 года), так и всю духовную жизнь? — а она и есть главная возможная доля прогресса человеческого существа, — тогда это страшно. А без духовной жизни — материальный прогресс пуст, и не есть прогресс. Однако Сахаров упорно верит, что именно учёным дано оценивать прогресс в целом. Даже («Мир через полвека», 1976): вот возникнут летающие города с термоядерными установками, а общемировое регулирование перейдёт в общемировое правительство. Эти расплывчатые картины будущего по сахаровскому эскизу — вполне ирреальны, Сахаров выступает пророком некоей призрачной сверх-страны, без осязаемого прошлого, во всяком случае без нашего прошлого. Его лозунги от неподвижного повторения становятся с годами всё более надоблачными. Да ведь со своих 27 лет в мире ядерных взрывов — как и не потерять опорности в реальном мире! Сахаров и сам так высказывается: что сделать по его общественной программе в нашей стране ничего нельзя, он не верит в успех, а действует из верности идеалу.

Снисходительность Сахарова к коммунизму и к социализму, которую в «Размышлениях», 15 лет назад («взгляды автора являются глубоко социалистическими», «нравственная привлекательность идей социализма», «выход был указан ещё Лениным»...), я воспринял лишь как тактический манёвр подгнётного автора, — к моему затем изумлению оказалась истинно присуща ему. Это — тоже продолжение старорадикального греха русской интеллигенции: насилие *слева* — прохвалять и прощать. С тех пор мы не раз встречаем у Сахарова то «источник наших трудностей — не в социалистическом строе» (письмо руководителям партии); то идеализацию 20-х годов в СССР — «большие надежды, дух воодушевления»; то — «лжесоциализм тоталитарный», которому с надеждой противопоставляются «социалистические идеи в плюралистической модификации»; то — термин «сталинизм», предполагающий, что коммунизм в общем-то был лучше, но загубили. Уже в ссылке в 1980 у него выплывает: «лозунги коммунизма, когда-то [во времена ЧОНа и продотрядов?] отражавшие стремление к справедливости и счастью для всех на Земле»... — И даже не исключает (письмо Брежневу, 1980, «Континент», № 25), что одна из причин оккупации Афганистана — «бескорыстная помощь земельной реформе и другим социальным преобразованиям».

Да, сам Сахаров всегда проявляет высокую личную нравственную силу — и оттого ли возлагает на неё расширительные надежды, нигде не допуская к ней примеси религии, даже не оговариваясь так. (И не спросит: а существовали ли вообще нравственные понятия *прежде* и *до* всяких религий, хотя бы языческих?) Религия для него — отчуждённое чудачество, часто и кроваво опасное. В атеизме же — он прочен, тут он — верный наследник дореволюцион-

ной интеллигенции. Даже призыв человека «к осознанию вины и к помощи ближнему» он озаглавливает не Христом, а Швейцером...

И — к чему же неизбежно должно свестись такое мировоззрение? Конечно же и только к «правам человека», — «идеологии прав человека», как теперь прямее говорит и сам Сахаров. «Защита прав человека стала общемировой идеологией».

Но как это понять: «идеология прав человека»? «Права», возведенные в ранг *идеологии*, что это такое? Да это же — давно известный анархизм! И это — желанное российское будущее? Да ведь ещё умница В. А. Маклаков поправлял своих разъярённых кадетов: надо заботиться не только о правах человека, но и правах государства! Добиваясь прав каждому, надо же помнить и об *обязанностях* каждого — надо же позаботиться и о целом! Наше столетнее Освободительное Движение как раз и добивалось только — прав каждому, исключительно — прав. И — развалило Россию. В 1917 мы как раз и получили — небывалые, несравненные права, а страна — тотчас погибла. Все наши события 1917 года начались разве с подавления прав? а не с полного их разгула? — рабочие захватили право бить в морду администрацию, солдаты — право уезжать с фронта, крестьяне — валить не свой лес, разбирать на части лесопилки или мельницы, самим брать землю, все горожане — требовать неограниченного увеличения зарплаты, — и русское демократическое правительство всему этому легко уступало. Ведь когда мечтаются «права человека», то подразумевается прежде всего интеллигентское право печататься и произносить речи — однако за тем покатится полный размах других «прав», где уже не отличат слово от угрозы, свободу от безнаказанности, собственность от воровства. И особенно в XX веке, когда повсеместно на Земле разнуздались инстинкты, — как же можно на первое и *единственное* место выдвигать «права человека»? Медицински говоря, назойливое втолакивание «прав человека» есть программа независимого одноклеточного существования, то есть ракового развития общества.

Сахаров, по-видимому, не отдаёт себе отчёта в том, чего и никогда не понимали русские либералы и радикалы, все четыре Думы, и что тщетно втолковывал им Столыпин: что не может создаваться гражданственность прежде гражданина, и не правовые вольности могут вылечить больной государственный и народный организм, а прежде того — физическое лечение всего организма.

А как, насколько, до чего мы больны — это Сахаров знает. Особенно узнал в годы своего диссидентства, на низах, уже преследуемый, в скитаниях вокруг судов, в столкновениях с простой жизнью. В той же «Стране и мире» он даёт немалый обзор наших болезней: позорно низкие зарплаты, тесное худое жильё, малые пенсии, скудные больницы, плохая врачебная помощь, плохое качество продуктов питания, плохое снабжение товарами, всеобщее пьянство, невозможность семейного воспитания, паспортное прикрепление, низкое качество образования, нищета учителей и врачей, ещё не пишет «демографическое вырождение», но к 1975 это ещё не было так ясно, да ещё оно и не всеобщее, коснулось только славянских ветвей да малых народов Севера.

Да, сегодняшний Сахаров достаточно много видит в советской жизни, он уже не кабинетный удаленец. И — какую же вопиющую боль, какую страстную безотложную нужду он возносит первее и выше всех болей и нужд раздавленной, обескровленной, обеспамятенной и умирающей страны? Право дышать? Право есть? Право пить чистую воду, а не из колодцев прошлого века и не из отравленных рек? Право на здоровье? рожать здоровых детей? Или бы: право на свободное передвижение по стране с правом вольного найма на работу и увольнения, то есть освобождения от крепостничества?

Нет! Первейшим правом — он объявляет *право на эмиграцию*! Это — сотрясательно, поразительно, это можно было бы считать какой-то дурной оговоркой — если бы Сахаров не произнёс бы и не написал бы этого многожды. В «Стране и мире», вслед за описанием советской жизни, стоит вторым разделом, ещё до проблемы разоружения — любимой и заслуженной проблемы Са-

харова, до всеобщего разоружения: «О свободе выбора страны проживания». Это — 1975 год. И с тех пор много раз он заявляет, что право на эмиграцию — «ключевая проблема», «первое и важнейшее» из всех прав человека, — переворачивая вверх ногами все разумные представления об условиях жизни народов. В эти годы у нас насильственно «закрывают» тысячи «бесперспективных» деревень, насильственно изгоняют людей из мест их рождения, до конца уничтожают Среднюю Россию, — Сахаров ни звука об этом, ничего этого не замечает, а: право на эмиграцию!! Через 5 лет, уже вот высланный в Нижний Новгород, — в одном из первых, теперь затруднённых и редких интервью («Вашингтон пост», март 1980): «Преследование *всех слоёв* (выделено мною. — А. С.) советского общества проявляется в ограничении эмиграции». А мы-то думали, что преследование колхозников — в эксплуатации их от зари до зари, в бесплатной работе, в безземельи, в изнурении, в нищете, в безодежде, в безобувности, — нет! — преследование колхозников в том, что их не выпускают в Америку! — И ещё через два года, в декабре 1981, после своей триумфальной голодовочной победы, Сахаров думает всё так же, об этом свидетельствует корреспонденткам приехавшая в Москву Е. Г. Боннэр: «Основное [!] право всякого человека — право покинуть страну проживания». То есть право бежать из гибнущей страны.

Столько лет подряд и так настойчиво. Вместо всех теорий общественного устройства — какая же дикая идеология бегства. В какой же стране какое коренное население способно выдвинуть такое «первое право»? Сахаров выстроил такое объяснение: исключительность права на эмиграцию в том, что оно есть гарантия выполнения прав для остающихся. То есть: если будет свобода эмиграции, то под неумолимой угрозой, что всё население уедет в Америку, — будут установлены в СССР полные гражданские права? Изумишься: как может учёный физик — создать и сам поверить в такое химерическое построение? А потому что тут работала не только логика, а эмоциональная предокраска познания: хоч, чтобы было так!

Уж не говоря, что весьма заметная еврейская эмиграция, отхлынувшая из СССР за несколько лет, ослабила напор за гражданские права в СССР, — она вообще сбила диссидентское движение: для многих диссидентов открылся заманчивый лёгкий выход, и тем шире открывался, чем диссидент настойчивей. В результате диссидентское движение опало силами и не возглавило общественного прорыва.

Да ведь это только говорилось — «всеобщее право на эмиграцию». Хотя Сахаров печатал («О стране и мире»), что эмиграция трагически необходима украинцам, русским, литовцам, латышам, эстонцам, — но те миллионы или сотни тысяч всех их, кто уехал в прежние войны, напротив, трагически тоскуют по родной земле, где только и дорого получить и свободу, и хлеб, а не на чужбине. Был убедительный пример у Сахарова: порыв к отъезду у немцев, — но это скорей не эмиграция, а ре-эмиграция, на свою исконную родину. И так, при всех добавочных построениях, — и сторонникам, и противникам, и близким и дальним было ясно, что речь идёт только и исключительно об эмиграции еврейской, для того и вся теоретическая конструкция, в том и боль Сахарова, да так он и писал: «Я понимаю и уважаю национальные чувства евреев, едущих строить свою новообретенную родину», — так и мы, другие многие, тоже так понимаем и уважаем.

Однако у Сахарова это нечастый случай, когда национальные чувства встречаются в положительном контексте. С той же решимостью он не дрогнул вмешаться во внутренние распри Соединённых Штатов, горячо защищать от американских критиков поправку Джексона (там винули, что на ней потерпела ущерб американская торговля), один раз обращался к Верховному Совету СССР, четыре раза — к американскому Конгрессу, и одёргивал конгрессме-

* Ну вот, настало в России время безгранично свободной эмиграции — и много ли процветания мы от этого получили? (Примеч. 1996.)

нов, готовых идти на компромисс с Советами, и особо — к собранию «Еврейских активистов в США»; и затем — к английскому, французскому, западно-германскому и японскому парламентам, — чтоб они и у себя ввели такие же поправки Джексона и остановкой торговли и кредитов заставили бы СССР выпускать евреев, — и убеждал, что таким путём может быть установлена вся в целом честная демократическая разрядка с СССР.

И столько усилий, столько хлопот (и столько личного риска!) — ради того, чтобы для малой доли населения добиться — яркой привилегии, которой остальным в нынешних условиях не видать.

Невольно и сам Сахаров увлекался этим порывом, прорывом через его грудь. В иные периоды прямо добивался для себя заграничной (в тех условиях необратимой бы) поездки, хотя добавлял трезво: «Я не могу рассчитывать на поездку или на эмиграцию как выход для себя».

Но обречённый оставаться телом в той стране, для которой 20 лет работал сверхсекретно и которую вооружил страшнейшим оружием современности, — Сахаров всё более вглядывается в Запад (не настолько, однако, чтобы развидеть его пороки и опасности), обращается к нему гласно, и обёрнут к нему, и переносится душевными эманациями. Он — и видит «всесильную на Западе левую моду, боязнь отстать от века». Однако успокаивает себя и Запад, что «в конечном счёте западный интеллигент не подведёт, с демагогами и политиками ему не по пути». Сахаров «с уважением, граничащим с завистью», относится к западной интеллигенции, «не сомневается в альтруизме и гуманности большинства её» и только диву даёт, что ведущие американские газеты цензурируют его, искажают, пропускают фамилии эков, смягчают выражения. Настойчиво (и так же тщетно, как и я) старается он убедить западных людей, что борьба за права человека на Востоке укрепляет позиции самого Запада. Сахаров сердцем пытается перенестись в их заботы, наивно советует «всемирную политическую амнистию» (то есть и «красных бригад»? и всех террористов? — каша). И восхищается левовывихнутой «Эмнести Интернешнл». И убеждает Запад «не вести местной [то есть внутривосточной] борьбы» (которая одна только и раззряет западных политиков) — ибо она «ослабляет западный мир». (Но это же и есть у них та самая завидная партийно-парламентская демократия!) И наивно убеждает Европу не допускать в себе антиамериканизма...

Сахаров — великий утопист, и своими утопиями он приносит ущерб тем, кто слишком верит ему. То и дело он поселяет в западном обществе между верными и сомнительные представления и надежды.

В своём вдохновлении Запада далеко перейдя правозащитные рамки, Сахаров призывает Запад приложить усилия восстановить утерянное стратегическое равновесие (для чего требует от Запада «экономических жертв и политической смелости»), против одностороннего западного разоружения, не допустить зависимости от нефти, оказывать на Советский Союз неослабное политическое давление (но «не отказывать СССР в кредитах...»). — «Я считаю необходимым давление на советские власти... Ослабив давление, мы [?!] можем потерять достигнутое; продолжая давление, мы добиваемся улучшения ситуации». (Что вполне верно.) Сахаров обращается то «к парламентам всех стран», то к правительствам; президенту Картеру пишет несколько назидательно: «наш и Ваш долг... Важно, чтобы президент США продолжал усилия...»

Да, всеобщий и бескрайний успех Сахарова у западной прессы и у западных политических деятелей впечатляет сроднённостью их взглядов и установок. Оплачивают ему и тот долг почёта, который 30 лет упускали заплатить Раулю Валленбергу (Сахаров возглащён теперь в Израиле «узником Сиона», уникальное решение Кнессета в январе 1980).

Конечно, все 70-е годы Сахаров отдавал себе отчёт в опасности своего уже крайнего политико-стратегического и внешнего противостояния советскому государству, но отчасти и не отдавал, теряя сознание политических границ и душевно сливаясь с союзным Западом. За все эти годы Сахаров рассыпает по

всемирной публичности бесстрашные (ведь изнутри Союза!) и беспощадные оценки советскому строю: показная, малозффективная социальная структура; беспринципность, бесконтрольность динамичной внешней политики, подкреплённая свободой финансов; жестокость; тайные подрывные действия; бездарная хищная бюрократия; нарушения договоров; поставки оружия для расширения кровавых конфликтов; и что истинно делается во Вьетнаме. Сахаров отважно (и со знанием дела) разоблачал все возможные в ядерных переговорах скрытые расчёты советского правительства, ищущего, как выиграть для СССР первый ядерный удар. Указывал и на верные (только неосуществимые) планы разоружения — при открытости и контроле.

Всё же в декабре 1976 ему приходится выслушать блудливый вопрос западного корреспондента: такое впечатление, что общественная деятельность Сахарова была более заметной до присуждения Нобелевской премии, чем после?

И это спрошено о том годе, когда Сахаров у суда Джемилёва в Омске бил по лицу гебистов и милиционера, и — на другой день после того, как он, демонстрируя на площади Пушкина уважение к мифической советской конституции, обнажил на морозе свою редкую серебристую седину, а гебисты со смехом высыпали на неё из кульков грязь и снег!

И разве понять американскому корреспонденту эту русскую нашу темь, как из дремучей глуши, прослышав, что в Москве появился академик — защитник справедливости, шлют и шлют ему корявые челобитные без адреса: батюшка! заступись, обижают! И между решением мировых проблем нужно Сахарову едва не каждое письмо прочесть и голову ломать, как, при всеобщем беззаконии, продвинуть законную просьбу. А с сердцем, открытым каждому страданию, не мог он зажмуриваться и отклонять.

Но тот корреспондент своим вопросом будто наклёкал: в самом начале 1977 Сахарову пришлось стать в ещё небывало резкое противостояние с Госбезопасностью — и эти месяцы я считаю вершинными в его борьбе, вершиной его мужества. Это случилось — от взрыва 8 января в московском метро и подлой заметочки Виктора Луи на Запад, что взрыв произведен диссидентами. Сахаров почувствовал на себе ответственность за всё диссидентское движение, намеченное к разгрому, — и 12 января издал обращение к мировой общественности: что репрессивные органы власти (читай — ГБ) всё чаще применяют уголовные методы (а уже было несколько известных избиений, и академика Лихачёва тоже), убивают безвестно, а теперь «я не могу избавиться от ощущения, что взрыв в метро — это провокация репрессивных органов или определённых в них кругов».

И только западные люди могут не оценить, что значит бросить вот такое в лицо ГБ и на весь мир, — голова под топор!

Но и ГБ — струсило и отступило, как всегда перед мужественным поступком, если он на свету.

В ближайшие за тем недели поединок пошатал Сахарова крепко. Сюда пришёлся и грозный вызов в прокуратуру, откуда он мог бы и не выйти, — и он с достоинством держался там и не сломился дать требуемое опровержение. И на другой день — ещё снова, в интервью, поддержал своё обвинение. И в эти же роковые недели был подкреплён заявлением Госдепартамента, затем личным письмом от нововступившего президента Картера. Перепуганное ГБ погнало прокурора оправдываться в «Нью-Йорк таймс» — какое падение для Дракона! — Сахаров достойно ответил и в «Нью-Йорк таймс». (А президент Картер тут же отступил и заявил, что ему «не следовало публично» поддерживать Сахарова. Но он... примет его неофициально, *если* тот приедет в Соединённые Штаты... Смех и слёзы.)

Устоял Сахаров. И продолжал отзываться по многим поводам частных преследований. И тщетность десятков его обращений не приводила его в отчаяние. Однако и тогда, и раньше, и позже не скрыл: опасаясь не столько ареста, сколько мафии, «подпольной уголовно-мафиозной деятельности» (и опять же верно — тут возможности ГБ вовсе безграничны), — особенно в отноше-

нии жены и её детей, «преследование их для меня несравненно трагичнее, чем что-либо другое».

И ГБ хорошо это знало. И использовало. Вся жизнь Сахарова и Е. Г. Боннэр была наполнена угрожающими и издевательскими письмами; вскрывая любой конверт, они не знали, какую подменённую гадость или насмешку там найдут (конверт от АФТ — КПП, а внутри — рисунок бронтозавра). А угрозы были весьма действительны, ибо вот одного за другим диссидента то избивали, то убивали таинственные непоимные молодцы. И угрозы (его собственную непреклонность ГБ уже оценило) так и шли в уязвимое сахаровское место — детям Боннэр. Это сопрягалось и с трёхлетним квартирным мучением, чисто советским изобретением: то непропиской Сахарова в квартире жены, то вообще лишением московской прописки, то помехами в квартирном обмене; то служебными неприятностями детям Боннэр.

И тут нервы Сахарова не выдержали. Столько сделав для эмиграции других, для вознесения эмиграции в высшее право человека, — как было ему удержаться, не требовать такого права и для своих близких? Теперь делал он особые заявления о судьбе детей жены, называя их заложниками. И, довольно неожиданно, эти настояния имели успех: за год после взрыва в метро и такого резкого конфликта — отпущены были в Америку и падчерица с мужем, и пасынок, выехавший, как потом обнаружилось, даже слишком поспешно; вслед за ними уехала и тёща.

Сахаров сам искренно готовился стать жертвой. Но когда в январе 1980 года разразилась его ссылка в Нижний Новгород — проявилось, что к удару этому он всё же не был готов. Спустя два месяца ссылки (март 1980) Сахаров, ещё, видимо, не понимая необратимости происшедшего, просился за границу, «если мне не дадут вернуться в мою московскую квартиру». И даже сейчас, через два года (январь 1982, агентство ЮПИ): «моё желание — увидеться с родными, которые *вынуждены были эмигрировать*, и — желание видеть мир». Да закрутили власти — куда жёстче обычной ссылки, на переходе к аресту: постовой у двери, к нему не пускают, сопровождают по городу, не дают разговаривать со встречными на улицах.

Степень испытанного Сахаровым удара надо оценить по потерянной им высоте. Если я к своему бунту шёл от жизни, прожитой в вечных, от детства, *низах*, то он — от постоянных, с молодости, *верхов*. Это несравненно тяжелей.

И вот, если прежде Сахаров всегда настаивал, что нельзя никого призывать к жертвам и твёрдости, теперь он стал обвинять всех академиков: «молчание моих коллег является их соучастием». А я всегда считал, что *призывать* — можно, а вот *упрекать* — недопустимо — недопустимо и при сахаровской мягкости ожидалось бы менее всего. Этак — и его тоже можно считать соучастником послевоенного сталинского террора? Иные другие академики, занятые иногда и полезнейшей для страны работой, виноваты ли в том, что не растоптали её из солидарности с Сахаровым? Каждый должен сам определять посильную ему меру жертвы.

Тут, в свои мрачные, отчаянные месяцы, Сахаров обречён был вовлечься и в длительное унижение: в хлопоты об отъезде в Америку невесты пасынка, брак с которой тот не успел оформить впопыхах своей эмиграции. Вероятно, Сахаровым двигало чувство вины перед детьми своей жены, или невыносимо ему было наблюдать её материнские терзания, но размер и тон этой кампании быстро достигли гротеска. И вот его статьи и интервью, посылаемые из Нижнего, с содержанием мирового значения, стали казаться лишь преамбулами, пристройками к главной концовке: учёные всего мира, требуйте от своих государственных деятелей, чтобы отпустили в Америку Лизу Алексееву! — И без усилий Сахарова его высылка в Нижний с самого начала вызвала громкий международный раскат — до правительственных заявлений, до резолюции американского Конгресса. Однако тут многие на Западе, кто глубоко преклонялся перед Сахаровым и упорно бился в помощь ему, вот и с Лизой сейчас, — испытали всё же некоторое смущение.

Но и эти призывы не сразу раскачали планету. И Сахаров закланно решился на голодовку. Судьба Лизы Алексеевой на несколько недель заслонила в мировой прессе все мировые проблемы — и в самые те дни декабря 1981, вот недавно, когда решалась, перед Ярузельским, судьба Польши. За 8 лет до того Сахаров объявлял свою первую голодовку, при приезде Никсона в Москву, в поддержку 84-х эзков, — и тогда, в свои 52 года, прекратил голодовку на 4-й день из-за угрозы здоровью. Теперь, в 60 лет, он объявил центром своего высшего напряжения, высшего риска своей жизни — эмиграцию ещё нигде не сидевшей, никакой борьбой не отмеченной девушки, и проголодал 16 дней, а пожалуй мог бы голодать и до смерти.

Е. Г. Боннэр по приезде в Москву заявила: «Победа нашей голодовки — победа прав человека вообще!» Увы. Пятидесятники Ващенко простодушно поверили, что с такой же горячностью мир будет защищать и их, — держали долгую семейную голодовку, уже прорвавшись в американское посольство, с требованием эмиграции для себя, — и обманулись.

Конечно, весь многолетний спуск Сахарова из верхних слоёв в нижние («в Нижний»), сперва добровольный, потом уже и нет, дался ему со сложной душевной перестройкой, — и, вероятно, ему самому вся его внутренняя история кажется цельной и единственно неизбежной. Ещё и в 1975 он испытывает в себе муки советского сознания: «Эта глава получилась-таки по обычным нашим стандартам довольно „злопахательской“». В мучительные часы я время от времени невольно ощущаю чувство неловкости, почти стыда. Делом ли я занят?» — вполне ещё советско-патриотический вопрос. И отвечает: «Нет, я не предаю никого, не бросаю тень на их честный труд». И: «Если я внутренне честен, то мне не в чем упрекнуть себя».

Насколько первые сомнения избыточны, настолько последнее отпущение поспешно. Можно быть вполне внутренне честным и прямолинейным, как Сахаров и есть, но промахнуться на поверхностном взгляде и чувстве, на неведи и непонимании отечественной истории — и так отшатнуться от её русла.

По тому, как Сахаров преодолевает советский гнёт, как он протестовал против вторжения в Афганистан, можно лишь восхищаться его неуклонным спокойным бесстрашием. Однако на жизненном своём пути, развиваясь душевно и выстраивая всечеловеческие проекты, Сахаров dokonечно выполняет свой долг перед демократическим движением, перед «правами человека», перед еврейской эмиграцией, перед Западом — но не перед смертельно больной Россией. Многих истинных русских проблем он не поднимает, не защищает так самозабвенно и горячо. Произнёс и сам он один раз эту сакраментальную (но не его и не свойственную ему) мысль: «Народ без исторической памяти обречён на деградацию», — однако не применил её к народу русскому. Думая о будущем России, мы не смеем оставаться равнодушными к тому, что Сахаров нам вносит и что обещает. Он показывает на высоком взносе возможности русской совести — но будущее наше он рисует безнационально, в атрофии сыновнего чувства. От нашего тела рождён замечательный, светлый человек, но весь порыв своей жертвы и подвига он ставит на службу — не собственно родине. Как и для всех февралистов: Сахарову достаточно свободы — а Россия там где-то поблекла.

Неужели попросту: нет русской боли?..

Хотя — я не смею его обвинять в этом: освобожденческо-февральским воздухом у нас отравлены были многие-многие, и сам я на себе это испытал, еле выбрался, так затемнена истина. В Сахарове — доносящим ударом поражает нас «освобожденческая» доктрина XIX века.

В той дореволюционной либерально-освобожденческой традиции господствовал напуг: как бы не выразиться неловко-сочувственно к одиозному понятию «русский», как бы это слово не прилипло к говорящему-пишущему. Так и Сахаров, если вспоминает когда-нибудь русский вопрос, то чаще всего враждебно. Только в этом одном вопросе он проявляет совсем несвойственную ему

резкую неприязнь. Неуместно, когда вовсе не о том идёт разговор с корреспондентами, а что-то болезненно заставляет Сахарова ввернуть: говорит ли о советской оккупации Афганистана — непременно припечатать «имперскую-русскую геополитику». (Россия — никогда не захватывала Афганистан, зато коммунисты — с самого своего начала; уже в 1981 это подробно разбирал читаемый Сахаровым «Континент», № 30. Англия и сегодня цепляется за Фолклендские острова на другой стороне Земли, — вот геополитика, но это не пилится нам в глаза.)

Отвечает итальянскому агентству на вопрос о еврокоммунизме: «Я воздерживаюсь от философской или политической оценки любой идеологии [впрочем, многие идеологии Сахаров решительно оценивает], в том числе и коммунистической». После всего, что они сделали с нашей страной? Зато вот острое, что в нём дрожит вечно воткнутым кинжалом: «Я очень боюсь учений, претендующих на знание высшей истины, — лишённых гибкости и терпимости. Такие черты часто возникают в русле националистических и религиозно-фанатических учений...» И вот, постоянно «осуждая всякие догматические системы» (а православие чаще всего), — Сахаров выражает агентству надежду на успешное развитие итальянского еврокоммунизма.

Православной церкви Сахаров, этот потомок священника, боится, кажется, более всего. Если бывают у него упоминания о православии, то — в духе наследованной радикальной мысли, сквозь зубы, мимоходом, как-нибудь позади пятидесятников. Напротив: «В Польше традиционно велико и благотворно влияние церкви». Это — верно, это — так! — но один бы раз в скобке признать, что и православие было в России не без блага.

Повторяет не им сочинённую, московско-образованскую басню: «Народ и партия едины — не вполне пустые слова». Ну да, изнасилованная и насильник — они ведь едины в какой-то момент.

А вот критический излом — голодовка. За эти дни сколько же перестрадал, передумал. И, выиграв её, пишет Сахаров в первом коротком письме на Запад, что присоединяется к «замечательным словам Михайлы Михайлова»: «Родина — это не географическое и не национальное понятие, родина — это свобода».

Но если родина — это только свобода, то зачем отдельное слово от «свободы», что в нём ещё? «Замечательные слова Михайлы Михайлова» — это шкурный лозунг, известный ещё в Древнем Риме: *ubi bene, ibi patria*.

В 1975 Сахаров уклонился вести со мной принципиальную дискуссию — по его подгнётному положению это было вполне объяснимо. Но так, видимо, накапливалось в нём эти годы, что вот, спустя 5 лет, едва донеслась до него из нью-йоркской газеты бесчестная статья Чалидзе «Хомейнизм и национал-коммунизм», — как Сахаров кинулся подпереть своим плечом эту телегу. И послал на Запад «Открытое письмо» (так и назвал, повторилась та же нервная торопливость реакции, как и на «Письмо вождям», — ведь нет для России большей опасности, чем национальное самосознание!), спешил присоединиться: ведь «обсуждаются взгляды Солженицына и его сторонников» (главное — «сторонников», приписанных, сочинённых; это их общий приём: кто им неприятен, записывай в «сторонники Солженицына», и за всё ответит Солженицын). И какие ж это мои («наши») взгляды? — «национализм» (к которому я не принадлежу) и «политизация религии».

Андрей Дмитриевич! Да где же вы у меня встречали «политизацию религии»? Ничего и близко подобного. Это — вы заняты ею, то и дело предупреждая против «политических опасностей» православия. Это — вы написали, что «православие настаораживает» вас, это — по вашему (как и коммунистическому) представлению его нельзя выпускать из человеческих рёбер, из дома, из храма — ни на улицу, ни в общество, ни в школу, ни в университет. Запретить

христианам применять их веру в общественной жизни, — только тогда не будет «политизации»?

Почему, Андрей Дмитриевич, в спорах о России вам всегда отказывает ваше обычное чувство меры? Что я «великорусский националист» — кто же пригвоздил, если не Сахаров? Всю нынешнюю эмигрантскую травлю кто же подтолкнул, если не Сахаров, ещё весной 1974? Кто ж присочинил моему «Письму» «православную хорошо оплачиваемую молодёжь»? Чью же мысль о «мягких идеологах и беспощадных исполнителях» выносит теперь эпитафией Чалидзе, уже на английском языке, подуськивая всеамериканскую печать?

Казалось бы, сколько объединяет нас с Сахаровым*: ровесники, в одной стране; одновременно и бескомпромиссно встали против господствующей системы, вели одновременные бои и одновременно поносились улюлюкающей прессой; и оба звали не к революции, а к реформам.

А разделила нас — Россия.

Глава 7

ТАРАКАНЬЯ РАТЬ

К 1979 я носил в себе замысел «Красного Колеса» 42 года, а непрерывно работал над ним — уже 10 лет. И все-все эти годы собирал — когда в бумаге, когда лишь в одной памяти — эпизоды, случаи, факты, хронологию, доступные материалы, соображения, оценки, мысли. Думаю: без системной методичности, природной мне по характеру, и без математического воспитания ума — работы этой мне бы не совершить. (Да — и кому?) И уже третий год я писал 1-ю редакцию «Марта Семнадцатого», то есть вступил собственно в Революцию, и во все трудности и особенности, связанные с революционным материалом. (Тем досадней, отвлекательней был осенью 1978 вынужденный трёхмесячный отрыв на «Зёрнышко», подтолкнутый гебистской пачкотнёй Ржезача. Возврат от современности — и к Семнадцатому году дался не без усилия.)

Сбор материалов для исторической Эпопеи — работа, которой есть ли границы? есть ли конец? Десятилетия для него и нужны, не меньше. А сбор народного типажа — фотографии, рисунки или словесные описания наружностей, одежд, манеры держаться, говорить — солдат, крестьян, фабричных рабочих, офицеров, штатских интеллигентов, священства? По долгим поискам, случайным крохам накаплиется, накапливается — чтоб, например, единожды изобразить живое, шумное многосолдатское сборище. Объём заготовленного, изученного материала относится к объёму окончательного авторского текста — иногда стократно, а уж двадцатикратно — запросто и сплошь.

Очень важно, и бывает трудно: определить, в какой момент пресечь поступление какого-то вида материалов, ибо уже грозит разбуханием и развалом общей конструкции, — ведь, теоретически говоря, материалы безграничны. Верным признаком тут служит учащение колебаний: брать — или не брать? Когда зарябила, запестрела граница обязательного и необязательного — вот и признак.

В моём случае — величайшую подмогу оказали *старики* — вот те старые эмигранты революционных лет. Они одарили меня и эпизодами — и самим Духом Времени, который только и передадут «не-исторические», рядовые люди. В моём просторном кабинете, всегда худо натопленном зимой, сколько, сколько вечеров я согревался над их воспоминаниями. Каждый такой вечер был для меня освежающая встреча с современниками событий — «моими» современниками по душе, живыми персонажами моего повествования. По вече-

* Об А. Д. Сахарове ещё далее: в Части Третьей и в Части Четвёртой

рам они укрепляли меня к завтрашней работе. Над листами светила настольная лампа, а весь тёмный простор высоченного кабинета был как наполнен — живой, сочувственной, дружественной толпой этих «белогвардейцев». Вот уж, одинок я не бывал ни минуты.

Я чувствовал себя — мостом, перекинутым из России дореволюционной в Россию послесоветскую, будущую, — мостом, по которому, через всю пропасть советских лет, перетаскивается тяжело груженный обоз Истории, чтобы бесценная поклажа его не пропала для Будущего.

Но и не выйдет: сперва все возможные материалы отобрать, прочесть, изучить — а лишь потом сесть и уже подряд писать эпопею. Нет, то и другое — перемежается, требовательно расчищая себе место. А поэтому бывают и ошибки: только что прочтённый свежий материал пробивается в строчки, может быть, имея прав меньше другого, залежавшегося. Но бывает и такое счастливое состояние полной включённости в суть, в синтетический охват всей темы, что нужные эпизоды, факты, выписки — как горящими буквами написанные в мозгу — сами врезаются в место, не требуя перебора, поисков. Удачи сами начинают выскакивать на помощь из делаемого дела. В иной же день работа кажется застрявшей безнадежно, — но вслед посылается тревожная ночь, — с просыпаниями, с короткими записями при ручном фонарике, чтобы не проснуться бесповоротно, — и тут-то выныривают из бессознательного мысли, не доступные тебе днём, провиживаются самое тебе необходимое. Утром разберёшь свои корявые записи-недописи — ба! да всё нашлось!

А ещё же бывают прямые — и даже сотрясательные — сны с моими персонажами. Трижды, в разное время, зримо, осязаемо снился мне Николай II. Когда я только пришёл к намерению писать его, в конце 1976, — будто мы сидим с ним рядом в зрительских креслах пустого театрального зала, без спектакля, занавес закрыт, — и о чём-то беседуем. Близко, резко вижу его лицо — и в красках. — Позже, вот, в разгар «Марта»: беседуем с ним то о внешней политике России (он говорит мягко и с интересом к предмету), то о наследовании трона, — и он печально качает головой, что Алексей — нет, не мог бы царствовать. — Так же видел я раз и Александра II, когда занимался либералами. — В разное время снились мне генерал Алексеев, Гучков, а то даже и Троцкий, с разными сюжетами, — да как этому не случаться, если я часами сиживал перед их изображениями, вдумываясь, вживаясь. Они становились мне самыми современнейшими современниками, я с ними и жила повседневно неделями и месяцами, а многих и просто любил, пока писал их главы. А как может быть иначе? С лёгкостью, даже только по верхам своего жизненного опыта, мы можем провести через повесть-роман одного, двух, трёх героев — но каково провести полтора человека? с равной ответственностью перед Пальчинским, Шляпниковым, Козьмою Гвоздевым, унтером Кирпичниковым, великими князьями Николаем Николаевичем, Михаилом Александровичем, генералами Корниловым, Крымовым или Родзянкой? (Как я узнал этого излюбленного думского «Самовара» по его смерти! Только так и мог он умереть: разрыв сердца от *радости*: в Сербии ошибочно сообщили ему о падении советской власти...)

И именно исторические лица вместо вымышленных всё властей заполняли книгу, — кто определённо в трагической тональности, кто напрашивался на юмористический тон, но через всех них прослушивался, отстукивал пульс Революции.

И рядом с этими — всей душою втянутыми, пережитыми, как хорошие знакомые, историческими лицами — уже ни я, ни читатель не так-то и нуждались в обилии персонажей вымышленных: достоверность живого бытия уже была почти утверждена и без них — хоть и в простых рядовых из толпы, тоже подлинно бывших.

Малое литературное произведение естественно зарождается с цельного, объёмного замысла. Крупная историческая эпопея не может начаться иначе как с восстановления скелета событий. Лишь её полнота может обеспечить

затем *доказательность* повествования, убедительность достигнутого исторического выяснения — хотя от этой-то полноты повествованию грозит большая объёмность и перегрузка. А не ставя себе такой цели — автору доступно отдаться лишь безответственной игре воображения. (Я-то первые годы работы размахнулся собирать материалы на все двадцать Узлов, до 1922 года, — позже понял, что та работа мне не пригодится.)

Но уже в высветлении, прощупывании этой исторической основы — рождаются попытки писательского осмысления всех осколков и связей между ними. («Потом» таких попыток тоже не наверстаешь.) Это и есть — 1-я редакция. После неё, кажется, повествование уже и лежит перед тобой — и нет его ещё. Тут — начинается 2-я редакция Узла (каждую работу я делал лишь по отдельным Узлам), где достигается *упругость* и проступают сотни внутренних связей повествования, никак не прогляженных и не доступных при собирании и высвете первичного материала.

Переход от 1-й редакции ко 2-й — иногда, при огромности материала, даётся трудно, он требует какого-то внутреннего обновления, подъёма в это полётное состояние. Так весной 1979, над огромным четырёхтомным «Мартом», я испытал внутренний кризис, остановку. Но принуждать себя не нужно: в негаданный момент оживление чувств происходит само, внезапно, — и повлекло, повлекло. В ходе той решающей редакции сами собой возникнут, вспыхнут, напишутся и сами для себя разыщут место ещё десятки необходимых глав. Вот тут: чем меньше плана, тем легче отдаться свободному сердечному течению.

После 2-й редакции книга уже существует, даже если смерть прервёт твоё перо. Но на самом деле впереди ещё много работы, и самой тонкой: тебе ещё самому предстоит открыть заложенную в этих событиях гармонию, красоту, а то и величавость, и символичность, — и помочь же им выявиться! А сколько ещё других детальных и тонких забот возникает — например, по особому укреплению *краёв* (тома, Узла), — условие, так понятное каждому строителю. На всё то идут 3-я и 4-я редакции, со многим ещё перебеливанием глав. Это — как с детьми: чем взрослей они вырастают — тем тоньше и взыскательней заботы о них.

В создании крупного произведения важная роль достаётся правильно угаданному соотношению работ по связям горизонтальным (тот же персонаж, та же общинка, та же тема, как они протягиваются через весь Узел) и вертикальным (как следуют и как стыкуются главы по ходу часов и дней). И те и другие — важны, и справедливо зовут к себе, — но даже авторскому взгляду они не сразу просматриваются и требуют терпеливого к себе внимания. Каждая из этих сюжетных перекидных цепочек по горизонтали — должна быть углажена, отработана автором — и какими-то знаками, метками облегчить и читателю различение, вспоминанье их, несмотря на огромность объёма. Сочетание горизонтальной и вертикальной проработки — из трудных орешков. (Да так — и в каменной кладке этажей.) Во 2-й редакции преобладает, тянет к себе горизонтальная: чтобы войдя в мир персонажа — дольше не расставаться с ним.

Трудней того вести горизонтали по общественным сплоткам (Временное правительство, Думский комитет, Ставка, штабы фронтов, Исполнительный комитет Совета депутатов, большевицкая верхушка) — ибо их взаимовлияния сильно переплетены (математически это назвать: «пучок горизонталей») и ни одну не протянешь порознь: от малых движений того же несмышлёного Родзянки так многое отдаётся на действия других, пока он не потеряет все сцепления и уйдёт в безвлиятельность. Приходится то и дело сочетать протяжку по горизонталям со сверкой по вертикалям: пишешь одну главу, а просматриваешь по смежности ещё дюжину. Напротив, дробные эпизоды февральских дней в Петрограде почти не имеют, не требуют никакой себе горизонтали, и сразу пишутся по вертикали своего дня.

А стыки глав по вертикали, то есть в череде их следования, становятся ещё добавочным рычагом впечатления: это как бы — дополнительный, нена-

писанный, без единой своей строчки кусок текста, который — контрастным сопоставлением или поточным сочленением — углубляет смысл. *Стык* — может дать и такое, чего не выразишь никаким текстом. (Особенно резко стыки работают при передаче бурной революционной обстановки. С её успокоением роль стыков ослабляется, и даже так укладываешь главы, чтоб от читателя меньше требовались рывки переноса.)

По общей протяжности работы бывает так, что иная написанная, но ещё не законченная глава лежит без перечёта года три, а то и все пять, — зато же и приступаешь к ней вновь уже душевно выросший, обогащённый, и тем видней необходимые исправления, которых не различал раньше. Надо, надо, чтобы произведение крупное — и зрело же в авторе долго. Так и «Август Четырнадцатого» со всем столыпинским циклом закончен в 1977 — а я всё медлил с его выпуском, только весной 1981 мы с Алей приступили к его набору. Этот замедленный, медлительный, не без торжественности, спуск корабля на воду — органичен для его дальнейшего хода в простор, а ты от него — отчуждаешься. Но, так чувствую, что и мне органично, природно дано ощущать динамические возможности Эпопеи, и её величавую красоту. Не случайно меня ещё с юности потянуло на такую Тему.

Огромный размер Эпопеи настойчиво побуждает автора и к уплотнению в форме глав *обзорных*. Они составляются только из реальных исторических событий, действий исторических лиц и, порой, выразительных цитат из них. В иных случаях такие главы помогают лучше охватить военную или революционную обстановку, в других — сгущённо воспринять общественный феномен. Но авторское изложение при этом не лишается художественной складки, отчего уярчается восприятие куска истории, он притягивает к себе и читательские чувства. (Однако же, в какой-то мере, становится не свободен и от чувств автора.)

Исключительно эффективно, впечатлительно и доказательно — использование выдержек из газет того дня, той недели, — нестираемая, неопровержимая печать общественных настроений, к тому ж богатая фактической информацией. (А когда информация содержит волевою ошибку или преднамеренную ложь — то тем характерней для воздуха эпохи. Газеты — тою живостью отличаются от мемуаристов, что: не знают, что будет завтра.) Связанные с точной датой, газетные строки гвоздят нас нестираемыми подробностями событий; для читателя иные бывают лишь повтором, закреплением, либо первым сообщением факта, — но и всегда же окрашены газетными характеристиками, а очень часто питают у читателя чувство юмора, местами обильного: опрометчивые газетчики сами не ощущают, как смешно то, что они пишут. За автором сохраняется — группировка газетных сообщений, их последовательность; она, особенно стыками, даёт ещё охапки настроений, выстраивает целую газетную симфонию.

Обзоры газетные вносят ещё тот плюс, что читатель побуждается к своей собственной активной работе над первичным материалом.

Эта же активность читателя обеспечена и в главах *фрагментных* — сборе живых эпизодов на тему (столица, провинция, железные дороги, армия, деревня), где снова же группировка фрагментов создаёт четвёртое измерение — стыков, сопоставлений. Много таких фрагментов я почерпнул от стариков-воспоминателей, они очень ярко, напряжённо передают осколки эпохи.

Разноречия мыслей выпукло передаются в безличных групповых или массовых диалогах, обсуждениях. А иные общественные сцены послефевральских недель — сами напрашиваются в юмор, если не в хохот.

Отдельно, между глав, крупным шрифтом приводимые *пословицы* призваны выразить народные суждения о только что услышанном (прочтённом) в главе. При удаче — они тоже открывают восприятию добавочное измерение. Иногда — бросают луч и на главу последующую.

Наконец: трудно обозримый объём эпопеи настоятельно требует приводить в конце каждого тома краткое содержание глав (в этом приёме — и тра-

диционная старинность). Помочь найти нужное место тому, кто эту книгу уже читал, а кто не читал — составить какое-то не протокольное впечатление. Эта задача потребовала создать как бы ещё один поджанр. Отчётливо выделяя главные имена и факты — такое содержание не должно быть скучно-перечислительным. Напоминательные маячки для читателя могут содержать в себе эмоциональные полужазы или давать событию такой отсвет, ракурс, какой не был явно выражен в главном тексте, — дополнить его по некой новой ассоциации.

Дивная эта цельность — многомесячной, многолетней работы над глыбой. Никогда не хватает дня. Пересаживаюсь от стола к столу, от рукописи — к раскладкам, и никогда не покидает радостное чувство, что делаю главное дело своей жизни. (Аля, когда б ни вошла, застаёт меня всегда упоённым, счастливым.)

Как бы ни был труден обычный рабочий день — после него всегда ровное, спокойное состояние.

И вот живёшь этой полной жизнью неделями, месяцами, годами — так хочется устраниваться ото всяких внешних столкновений, только бы никто не мешал! Но тут-то и наваливаются — гамузом, кишмя. Увы, вся эта работа моя — год за годом шла под растущий, назойливо визжащий внешний аккомпанемент. Недоброжелатели не утихали, напротив: сочли, что самое время — пришло.

Весной 1980 вышло в свет англо-американское издание «Телёнка» — с опозданием в четыре года ото всех других языков, зато в превосходном переводе Гарри Виллетса. Сам я уже восемь лет на Западе — а второго такого английского переводчика по уровню не нашёл. А он и вообще переводит медленно (да и должно быть так, для качества), и здоровье его и близких отягощено эти годы. И вот на самый распространённый язык мира мои книги попадают позже всего.

Однако кому надо, кто за мной слеживает, выжидает, — уже давно прочли «Телёнка» по-русски, — и уже подстораживали выход по-английски. И вот когда открылась им замечательная возможность — с быстротою переползть по мне, где куснуть, где съязвить, где измарать, и во всех случаях громко заявить о самих себе.

Первый и первейший, обгоняя публикацию «Телёнка» в Штатах, поспешил отметить мой когда-то самоявленный биограф Файфер, тогда ссаженный мною из седла. Теперь ото всей обиженной группы Бурга, Беттела, Зильберберга и от общей лево-либеральной страсти, отлично попадая в её поток, Файфер извергся статьёй в литературном журнале «Харперс». Уже поняв, что обо мне в Америке можно печатать любую клевету и как угодно ругаться, Файфер своей статьёй давал ещё новый к тому импульс, вырабатывал клише для газет: реакционер и фанатик, Солженицын расчётливо пользуется ложью и лицемерием наряду с мессианским морализированием. Якобы: вернулся в «Новый мир» к новым ставленникам власти, чтобы только печататься. (Вот уж небылятина, она пошла от фальшивого намёка Лакшина. Как бы и где я мог печататься вообще в СССР после 1970, отверженный всей советской властью? в чём я «вернулся», если и новомирского порога после Твардовского не переступал? Но американским читателям того никак не проверить, не узнать, — пиши, а там прилипнет.) Дальше хлёбово ещё горячее: Солженицын не изменил складу ума верующего коммуниста. Близок к Ленину по фундаментальным политическим и социальным вопросам. Лицемерие гарвардской проповеди. Принял черты тирании, с которой борется. Подобные качества породят новую диктатуру. Эта угроза окажется в будущем больше сегодняшней военной угрозы СССР! (И откуда у них эта дурь о моём будущем тиранстве? — сию на месте, пишу книги, не езжу создавать ни союзы, ни блоки, ни конференции.)

Над статьёй Файфера я понял, что уже вполне «воспитан» американскими левыми журналистами, уже обвыкся, что будут струить в меня потоки помоев, — уже перестаю и замечать. «Критика» перешла далеко все границы, когда стоит возражать и даже читать её. В чужой стране, к которой не испытываешь нежности и чьей «элиты» мнение не ставишь высоко, — все эти клеветы становятся безразличны. Бороться за своё имя в Америке я не буду: ещё и на этом поле бороться — потеряешь и литературу, и Россию.

Да и на Россию Файфер, бывший хвалебщик советской колхозной системы, тут же проворно поворачивал. Русская жизнь — скотская ферма. Это был бы рай для крестьян, но они не проявят самоотверженной чистоты. (О таких суждениях русская пословица: где прошла свинья — там и почесалась.)

В целях фэйферовской статьи была и реклама лакшинской — вскоре выходящей в Соединённых Штатах уже в форме книги, тоже подгаданно к выходу «Телёнка». (Уже несколько лет тому, как статья Лакшина вышла во Франции, и должна была в Англии появиться давно, но издательство, кажется Кембриджского университета, не рискнуло публиковать, опасаясь многих бранных выражений Лакшина против меня: как бы я не подал в суд.) Воистину, Лакшин двух маток сосёт. Пишут о нём теперь американские журналы: «почитаемый как на Западе, так и на Востоке», «в немилости у властей» (ни дня без видного поста и весомой казённой зарплаты), «не имея возможности отвечать Солженицыну свободно» — он, вот, вольно печатается в американской прессе (без промаха зная, что против *литературного власовца, отщепенца* Солженицына советскому критику выступать похвально).

Эта фэйферовская статья отчётливо выразила (и помогла тиражировать дальше) уже созревшее в эмигрантской образованщине и охотно глотаемое американской: что «Солженицын хуже Брежнева, хуже Сталина, хуже Гитлера» — и уж конечно хуже неприкосновенного Ленина. С тех пор этот тон и утвердится в их прессе на годы. Своей запальчивой недоброжелательностью американская пресса как бы спешила ещё и ещё доубедить меня, что невозможен нам основательный союз с ними против коммунизма.

С пронзительным кличем к выходу в Штатах «Телёнка» выскочила, разумеется, Карлайл — перегнуть никем не читанную книгу. Но так как ещё один перемол собственных мемуаров уже не давал Карлайл нового убедительного, то она пустилась в интервью к историческим корням: о своём приёмном деде Чернове, лидере эсеров; о Ленине, который «не был такой убийца, как Сталин или Гитлер»; а главное её несогласие со мной — конечно же мой известный антисемитизм. Достоверное свидетельство человека, меня «знающего лично много лет», — лучшая спичка к стогу американской соломенной образованности.

Следующим предварением моей книги была установочная руководящая статья профессора Кохена в «Нью-Йорк таймс бук ревью». Тут — несколько ложных цитат. Несколько искажений, не обязательно намеренных, хотя невежественных (вроде того, что я, осуждённый новоэмигрантской литературой за поддержку «деревенщиков», именно будто я и отрицаю что-либо здоровое в нынешней советской литературе, и американский профессор теперь перечислял мне в назидание этих деревенщиков). Но главный состав обвинений уже подобран раньше, не им первым, Кохен просто конспектирует Лакшина: Солженицын отравлен опытом Гулага. (За 17 лет до того, после «Ивана Денисовича» уже упрекала меня советская критика и советские пропагандисты на закрытых лекциях: «заразился лагерной ненавистью». У них перенял Лакшин, от него американцы.) Недемократичный, недобрый, нетерпимый, неправдивый, неблагоприятный. Авторитарные взгляды, презрение к либеральной демократии. «Человек, который, по собственному признанию, лжёт своим друзьям» (это когда скрывал от Твардовского свои подпольные тайны). Готов жертвовать собственными детьми, «чтобы спасти ещё одну рукопись» (не отказываться от «Архипелага» даже при шантаже ГБ, но Кохен не поясняет). «Русские критики, кто знал обоих» (Лакшин), негодуют, что Твардовский в книге оклеветан. А Лакшин, мол, весьма убедительно оспаривает мемуары Солженицына.

Мой портрет написан Кохеном не так развязно, как Файфером, зато из-под его руки, и из самого модного издания, это клеймо станет теперь излюбленным. Представить меня чудовищем — в этом усилия американских образцованцев решительно совпали с усилиями советских.

Задача облегчалась тем, что в Штатах, из-за четырёхлетнего опоздания перевода, «Телёнок» появился не в ореоле моей шумной стычки с Драконом — а остывшим, и перед глазами, раздражёнными моей Гарвардской речью.

Кохен так и формулирует читателю как уже готовую поговорку: «Скажи мне, что ты думаешь о Солженицыне, и я скажу тебе, кто ты». А ведь — подмечено! От самого появления «Ивана Денисовича» я невольно служил как бы раскалывающим лучом. Сперва по мне делились на сталинистов и кто жаждал свободы. Потом (по «Августу», «Письму Патриарху») — на либералов с интернациональными чувствами и патриотов. Теперь в Америке — по сути, тоже делу.

Однако. Хотя радикальный орган и дал тон *своей* критике (да впрочем, есть ли в Америке литературная критика сверх зубоскалства газетных рецензий?) — но по всей Америке и она распалась всё так же поляризованно. Если судить по пачкам отзывов на «Телёнка», которые мне регулярно пересылало издательство, — положительных и нейтральных было всё же больше, чем отрицательных, но — цифры сравнимые. Всё же — резкая враждебность была громче, решительней, и в газетах-журналах крупных. (Тон английских газет был и приличней, и чаще доброжелательный.)

Некоторые копировали Кохена так-таки слитно, одним руководительным абзацем: «Теперь мы знаем Солженицына как человека, лгавшего своим друзьям, отказавшегося оплакивать смерть старой женщины, игнорирующего судьбу советских диссидентов и решившего пожертвовать жизнью своих детей ради одной рукописи». Так и лепили кряду в единой фразе: «лживый, коварный, лицемерный, жестокий, мстительный... эта книга — разоблачение его личности».

В нынешней журналистике, в политике совершенно забыли, понятия не имеют, но даже и в литературе утеряно, что значит говорить о своих ошибках, промахах, а тем более пороках, — так не делает у них теперь никто и никогда. Оттого они ошеломлены моими признаниями в «Архипелаге» и в «Телёнке» — и вывод их только такого уровня: вот, открылись нам его пороки (а мы — насколько, оказывается, лучше его)! И ведущие во всякой травле газеты, как «Нью-Йорк таймс» и «Крисчен сайенс монитор», накидываются остервенело.

Заносчивый, безжалостный. Вероломство, хвастовство. Злословие, святошество. Его природе чуждо раскаяние. Мания величия, нападки фанатика. Невротические прелести помрачённой психики. Его психика глубоко затронута. Шизофрения. Паранойя.

Какой смык с Советами!.. Когда выгодно использовать клевету, чем эти две мировые силы, коммунизм и демократия, так уж друг от друга отличаются? Переброшенный в свободную Америку, с её цветущим, как я думал, разнообразием мнений, никак не мог я ожидать, что именно здесь буду обложен тупой и дремучей клеветой — не слабее советской! Но советской прессе хоть никто не верит, а здешней верят, — и ни один западный журналист и почти ни один «славист» не взял на себя честный труд поискать, найти: ну где-либо у меня подобное написано? сказано? а есть ли хоть гран правды в том?

Читаю рецензии дальше. — Теперь, с опубликованием «Телёнка», трудно его [Солженицына] любить. Его невозможно любить. Всё занят своим [судьбой «Архипелага»]. Запугивал честных и умных людей. Проявляет ханжеское презрение к диссидентам. Запас презрения у него неисчерпаем («поношение» братьев Медведевых и Чалидзе). В изгнании оказался неблагодарным гостем: критикует страны, давшие ему возможность говорить. (Нет, надо только льстить им.) Нападает на приютившую его страну и на руководителей своей прежней страны. (Особенно обидно за тех барашков, за брежневских старцев!) Стремится не к уничтожению Гулага, а только — посадить туда других. Жаждающий власти. Реакционная сила. Следует примеру Ленина. Великий русский аятолла. — Лейший «Нью лидер»: «Часть вины — на нашем правительстве,

которое так некритически приняло Солженицына в свои объятия». — Но, может быть, всех превзошёл Макс Гельтман в еврейском журнале «Мидстрим»: «Он посвящает страницы своей полной родословной... поименовав всех Солженицыных, — все крестьяне, до того, что коровьим навозом почти замазаны страницы...»

Ещё в январе 1964 сказал мне Твардовский (записано): «Огромный заряд ненависти против вас». Это за первый только год, как обо мне узнали вообще! Но вот — лишь теперь я это во плоти ощутил, — и шире, чем Твардовский тогда думал.

Я написал, что в разгоне на меня американцы смыкаются с Советами? Но даже и нет. В советской прессе меня травили догматическими мёртвыми формулами, совершенно не задевающими лично, в них была машинность безо всякого личного чувства ко мне. А, скажем, обсуждение «Ракового корпуса» в московской писательской организации — так просто был образец терпимости, даже у неприязненных ораторов. Да даже в распале боя на секретариате СП меня не поносили с такой жёлчью, с такой личной страстной ненавистью, как, вот, американская образованная элита.

По-немецки: беда, бедствие, жалкое состояние — и чужбина — охватываются единым словом: *das Elend*.

Что ж, западная пресса меня когда-то превознесла — имеет право и развенчать. По русской пословице: на чужой стороне три года чёртом прослывёшь. У меня немного не так: сперва я перенёсся к ним как бы ангелом, но тут они быстро прозрели, и теперь уже чёртом я останусь до самого конца, не три года: Солженицын — пугало, Солженицын — вождь Правого крыла. Да тот же «Мидстрим» со всей серьёзностью и предупреждает: «Вождь с усохшим фанатизмом мирского аятолы, хотя и более талантливый, а потому более опасный, потребует [от нас] выдержанной и длительной борьбы». (Борьбы! — заруби на носу.)

(А я-то в 1973 кончал Третье Дополнение к «Телёнку» с распалённой увереностью, что «смерть моя отпрыгнётся» советским властям, «не позавидуешь». Да несколько бы и не отпрыгнулась: Запад вскоре же бы меня забыл и смерть мою простил.)

Да и как писателя — понимали тут меня когда-нибудь? Ну, до сих пор были плохи переводы моих книг, — но вот же самый отличный перевод! Ничего не увидели. Ни одного суждения в уровень с предметом.

Но рядом с потоком записных «колумнистов» (журналистов, плодящих сотни одинаковых статей, сразу по шири американской прессы) изредка прорывались и письма читателей — и они-то увидели в «Телёнке» другое. Так, Томас Уолтерс из университета Северной Каролины: «Если писателю когда-либо приходилось искать родину в самом себе — так это Солженицын».

Конечно, надо сделать ту поправку, что колумнистам невообразима истинная обстановка в Советском Союзе и температура тамошней борьбы. Ведь они такой борьбы никогда не испытали, им не вообразить, что она бывает горячей и быстрее военной. Им не узнать, что с меньшей устремлённостью и не пробить бетонной стены. Американская публика беспечно не ведает силы и беспощадности того врага. Надо было мне пережить этот поединок с Драконом, чтобы через 10 лет в стране легкопёрых журналистов услышать упрёки, что я дрался против ГБ неблагоордно!

Но и те из них, кто был в Советском Союзе и мог бы что-то усвоить, — не усвоили. К навирным речам присоединил свою рецензию и знакомый нам Роберт Кайзер. Он кроме того искусился выступить как «личный свидетель»: и как моя книга односторонняя, но и более: «в важных отношениях книга просто *нечестна*, о чём я могу из первых рук свидетельствовать». И какие ж это «важные отношения»? А вот. В «Телёнке» написано: «Американские корреспонденты [Кайзер и Смит] пришли ко мне без телефонного звонка» (то есть, по тексту ясно: чтобы ГБ из телефона не знало об интервью заранее, и тем более дня и часа его). И этот человек, ведь поживший под московским надзором, теперь притворяется непонима-

ющим: «Выходит дело, мы просто зашли к нему, когда на самом деле мы пришли после сложной подготовки. Он планировал это интервью по крайней мере два месяца, что, по-видимому, хочет скрыть в своих мемуарах». (Но что видно каждому, кто прочёл это место в «Телёнке» открытыми глазами.) А раз одно такое искажение, то — «я опасаясь, что и многие эпизоды в книге искажены, чтобы служить полемическим целям Солженицына».

Тут я (впрочем, с опозданием в год, лишь когда прочёл) не удержался, написал Кайзеру письмо: зачем уж такая личная недобросовестность? А что ж, был телефонный звонок? — ведь не было. Неужели ж Кайзеру не ясно, что речь идёт только о *предохранении от КГБ*? Если это не заведомая недобросовестность — прошу публично и в тех же газетах исправиться. (Уж не стал ему пенять ещё: в 1977 в «Вашингтон пост» он самовольно приписал мне, да в кавычках, как цитату, восхищение президентом Картером, которого я никогда не выражал. Этика американского журналиста? — надо сделать приятное новому демократическому президенту?)

Но разве они умеют исправляться, извиняться? Разве крупный американский журналист чтит себя чем-нибудь меньше, чем апостол Павел? Кайзер ответил: «Я согласен, ни один факт в вашем отчёте не неправилен. Но что я написал в рецензии — это то, во что я верю. Я должен остаться верен своим убеждениям и не вижу причин извиняться».

Итак, оставайтесь, читатели, при «живом свидетельстве», что «книга во многих отношениях нечестна»... И в руках таких созерцателей, гостящих в Москве, — судьбы тех, кто поднимается против всесильной власти!

И уж скажешь: зачем было «Телёнка» издавать в Штатах? Обошлись бы они без него, а мы без них.

Однако, сколько бы ни было искажений в этом злом налёте — а не может быть, чтобы совсем без правды? Что-то они увидели со стороны, какая-то правда да есть, отчего б на ней не поучиться?

Вот, читаю: «Описывает Твардовского с циничной неблагодарностью». — И хором: жесток к Твардовскому!

Очунаюсь: да может, эта пустоголосица в чём-то и наставительна? Жесток? Да, повороты жестокости были: скрывался от А. Т. порою сам, почти всегда скрывал свои предпологаемые удары. Жестоко — но как было биться иначе? Лишь чуть расслабься в чём одном, даже малом, — и бок открыт, и бой проигран. Однако: рисовал я Твардовского в «Телёнке» с чистым и расположенным сердцем, и оттуда никак нельзя вынести дурно о нём.

Вот пишут: «Жажда отмщения [за жертвы Гулага], всегда жившая в Солженицыне, затмила в его трудах всякое различие между политикой и литературой». «Всякое» уж не всякое, но отчасти и затмила, да. Эта непомерная доля политики в литературе — надо бы от неё к старости освободиться.

Или вот: «неблагодарен к друзьям». Они-то не читали «Невидимок» и друзей моих истинных не знают, они зачисляют ко мне в друзья Чалидзе и братьев Медведевых, — но я прочитываю: какое ни обезумие боя было и какая ни гонка конспиративного писания — а должен был я искать силы души и время, чтобы смягчать наши крутые повороты для моих друзей и тайных сотрудников. Мог бы быть я позаботливей к ним. Да, отдаюсь борьбе настолько, что забываю смягчить, где и надо бы. (К Александру Яшину в больницу — ведь опоздал...) И как бы — к концу жизни помягчить и уравновесить что-то в прошлом, и всё в будущем?

А пожалуй, наиболее единодушно поражалась и возмущалась американская критика: как это я могу быть так уверен в своей правоте? Ведь известно, что для всяких мнений о всяком деле может существовать лишь равновесие, текучий плюрализм, «фифти-фифти», — и никто не владеет истиной, да и быть её в природе не может, все идеи имеют равные права! А раз у меня такая уверенность — так значит воображает себя мессией.

Тут — прѣпастный разрыв между мирочувствием западного Просвещения и мирочувством христианским. А по-нашему, а по-моему: убеждённость человека, что он нашёл правоту, — нормальное человеческое состояние. Да без него — как же можно действовать? Напротив, это болезненное состояние ми-

ра: потерять ориентиры, что и зачем делается. Сознание, что жизнью своей служишь воле Бога, — здоровое сознание всякого человека, понимающего Бога простым, отнюдь не гордостным сердцем.

Но не только личным ошельмованием проявилась американская критика к «Телёнку», всё же иногда она вспоминала, что считается «литературной». Так вот. Книга — бессвязна. Политический дневник. Мало нового. Ему, по-видимому, нечего больше сказать, а мы не заинтересованы получить от него дальнейшие сказания. Атавистический лексикон. Гибридная проза.

В лужу глядеться — на себя не походить.

На этом пути впредь и надо ждать главных усилий эмигрантско-американской образованщины: доказать, что я мелкий писатель, — это был морок, что приняли за крупного. Образованщине не снести, что появился крупный писатель — а не из её рядов, не с её направлением мозгов. И уж как кинулись перебирать, искать мне «антипода», сколько в разных местах покозырено: то — «антипод Солженицына Зиновьев», то — «антипод Гроссман», то — «антипод Синявский», то «антипод Бродский», то даже — Копелев «антипод», и это ещё не всё.

На Старой Площади тоже ведь рыскали найти мне «антипода» в советской литературе — да так и не нашли.

Но от враждебности ко мне американской прессы я не страдаю — потому что не нуждаюсь в ней печататься, через неё обращаться. Впрочем, и нельзя сказать, чтобы я нисколько не повлиял на Америку за эти годы. Ещё в 1975 и в 1978 мои слова звучали тут дерзким вызовом и «Голос Америки» цензуровал меня, чтобы эти ужасные слова не попали в русские уши, — а вот стал Рейган у власти, и сам цитирует меня иногда; за ним и государственные лица (или даже, совсем бесстыдно, и обернувшиеся журналисты) повторяют меня тогдашнего почти и дословно.

Так теперь-то мне и выступать? — Нет, теперь, когда исправляется их позорная уступчивость против коммунизма, — теперь необходимость в моих речах и отпала.

Слава Богу, при накопленном жизненном материале не нуждаешься окунаться в среду, куда случайно заброшен. И не в газетном информационном потоке живёт писатель, совсем на других глубинах, не нуждается заглатывать эту избыточную шелуху. Только слежу по радио за мировыми событиями, да какая газетная вырезка особенно нужна — ту обычно мне присылают.

А всё ж иногда и взбленишься. В июле 1980 прислали мне статейку из «Крисчен сайенс монитор» («Обозреватель христианской науки») — ядовитой лево-либеральной газеты, из самых влиятельных в Штатах; бостонская, тут по соседству, когда-то просила у меня обстоятельное интервью, я не дал. Теперь там некий Харлоу Робинсон под заголовком: «Солженицын — пронзительно» (или «назойливо», — орёт, значит) печатает: «Солженицын сказал в последнем интервью, что он точно бы возвратился в Россию, *предпочтительно как национальный политический лидер*». Ну, что за мерзавцы? Уж гавкают на меня, как хотят, — чёрт с вами, гавкайте. Но — *сказал*», наглость какова! И не говорил, и в мыслях такого нет. Итак, что делать? Отвлекаться, писать опровержение: «Ваша высоко интеллектуальная газета имеет полное право не знать русской истории и не понимать условий советской жизни, — (это — об остальной их статье), — но не имеет права печатать ложь... Прошу напечатать моё письмо, а от автора жду публичного извинения».

А не напечатают? — не буду ж я с ними судиться, суд — вообще не дело человека, тем более — писателя. Так и присохнет.

Прошло три недели — молчат. Нет угомону, снова писать: «...Должен ли я заключить, что вы отказываетесь поместить моё опровержение — и я свободен в других мерах общественного опубликования об этой подделке?» (На самом деле — ну конечно ничего не буду, нет сил этим заниматься.) Ответ главного редактора! — ах, я к сожалению был на вакациях, когда пришло ваше первое письмо... Мы безуспешно связывались с мистером Робинсоном, чтобы получить от него желаемый комментарий. (Они сами — не могут проверить, что в интервью в «Нью-Йорк таймс» не было ни таких моих, ни хотя бы подобных слов...) Наконец

ещё через месяц печатают моё письмо в отделе «читатели пишут», тут — и реплика Робинсона: *«предпочтительно как национальный политический лидер»* — была его [Робинсона] собственная дополнительная интерпретация, и он сожалеет.

И весь эпизод не стоит растёртого плевка — и на это надо тратить время и внимание. А разве по всей необъятной мировой печати угонишься? будешь опровергать? — Тысячережая газетная ложь.

И вот — масштабы. Мелкая эта дрянца закончилась 8 сентября. А 11-го днём сижу, как всегда, у себя за столиком, под берёзами, близ пруда. Свой участок, огороженный сеточным забором, под два метра. Никого со стороны никогда не бывало, и свои-то не ближе ста метров, на горе, а тут — только бурндуки бегают. В этом уединении которое лето пишу, с рассвобождённой душой. Дует ровный ветерок, скрадывающий шорохи. Глаза — в бумагу, ничего не слышу и ничего не вбираю косым зрением. И лишь случайно подняв глаза — вижу в полутора метрах от своей головы, на приподнятой тропе, — проходящего мимо рыжего пышного сильного зверя. Такая крупная собака? чья? и так беззвучно? Поворачиваю голову по ходу — и вижу за стволами берёз уже прошедшего мимо меня переднего волка: теперь он оглянулся на заднего и скалит зубы длинной морды: что, мол, отстаёшь? теперь и полностью заднего вижу: прошёл, догоняет того. Ушли.

Я — ничего не успел ни сообразить, ни приготовиться, да даже и палки не было рядом. Волки прошли спокойно и совершенно беззвучно, нашей обычной хоженной тропой по участку, а стол мой — во впадине, так что прошли они ближе двух метров, на уровне моих плеч, и ничто не мешало любому из них прыгнуть к моему горлу. Бог пронёс? сыты были? (Сосед говорит: в нашей округе не живут, это из Канады идут, вслед за голодными лосями; и по местному радио было.)

Сижу и опоминаюсь: вот хорош бы был мой конец (и день в день с провалом архива 11 сентября 1965): съели волки! у себя же на участке за письменным столом. Никто ещё из русских писателей так жалко не кончал. Ликование и хохот врагов. Недописанный «Март», разгрызенная жизнь ещё в полных силах.

А какие опасности проходил!.. Так вот не знаешь, что тебя где ждёт. Не угонешь, где утонешь.

Первые дни стал таскать, прислонять к письменному столу охотничье ружьё. И кому из малышей предстояло спускаться ко мне со страничками от мамы — должен был кричать с горы: «Папа! я иду!!» — и я выходил к нему на встречу.

Но волки не появлялись больше.

А местечко это — я как любил! От моего врытого стола, тесно окружённого пятью стволами берёз, сидишь, как в беседке, — в одну сторону, повыше — площадку у домка, гладко выложенная плитчатыми камнями разной формы (детишки играют: вот — Австралия, вот — Гренландия), и по этим плитам можно быстро размяться, погонять вперёд-назад, у самого пруда. В жаркие дни по несколько раз тут же в пруд и окунался. А в другую сторону, куда пошли те волки, — единственная на всём нашем участке поляна, шагов на полтора, и единственный распахнутый вид на небо, куда и водил я сыновей учить созвездиям. А в летние ночи лунные, и если бессонница, то от прудового домика порой медленно брожу по этой поляне, по колону трава, заглядываюсь на высоченные тополя, через сетчатые же бездействующие ворота — на проезжую пустынную дорогу, и по-за ней — такой же отчётливый безмолвный лунный мир, только звучат переливы от соединившихся трёх ручьёв — тут, рядом, в тёмном приглубке. Мир — наш, земной, а вместе — и какой-то инопланетный. И — зачем я здесь? и — надолго ли?.. Всегда чувствую: нет, я тут временный. А от этого — ещё бреннее, чем и всякому человеку на Земле.

При рыжих волках как не вспомнить и волков красных? Уж они-то как верно могли перелезть и перегрызть ещё раньше. Что там они?

Да по широкой поверхности — всё та же омрачительно-одурительная советская пропаганда, невозможно брать в руки их печатное. Красный фронт продолжает крепко стоять. А я, в отдалении, перестал на нём действовать — и все эти годы, после книжки Ржезача, их как будто не ощущал. Смутно слышал: то какой-то двухтомный пасквильный «роман» издан про меня в ГДР, то какая-то книжечка цекистского профессора Н. Яковлева. Настолько не было мне надобности за ними следить, что лишь этой весной, 1982, разбирая архив вот к этому продолжению Очерков, обнаруживаю сообщение Би-би-си ещё в марте 1976, когда я ездил по Испании, а потом сразу в Калифорнию, бумажки складывались без меня, я к ним не возвращался; и вот теперь с 6-летним опозданием узнаю, что в марте 1976 «Литературная газета» печатала против меня большую статью «Без царя в голове» — и уже там был весь этот наворот: что мой дед, мужик Семён Солженицын, был некий крупный феодал, известный в округе своей жестокостью, и с фантастическими владениями в 15 тысяч гектаров, — тем не менее один его сын почему-то грабил на дорогах с помощью аркана, кастета и кляпа, а другой его сын, мой отец (самых либеральных воззрений), не вынес падения монархии и кончил самоубийством. А я-то двумя годами позже сердился на Ржезача — а он всё это из «Литгазеты» и тяпнул.

Так же до сегодняшнего дня не листал я заказных нападок Н. Яковлева, ещё 1979. (Он и по-английски, оказывается, печатал книгу против меня, ещё другую, «Жизнь во лжи».) Душно и глупо там десятки раз повторяется, что я — марионетка и верный слуга ЦРУ (ещё с подсоветских лет), но не оправдал доверия и поэтому списан в резерв и помещён цеэрушниками в глухую изоляцию в штате Вермонт. Что «Архипелаг Гулаг» — «обобщение усилий государственных ведомств Соединённых Штатов». Обо мне, конечно: «Лакей Смердяков... Слеплен глянцем сапог немецких генералов... За его „нравственной революцией“ скрывается призыв к вооружённой борьбе с Советским государством». Но и: «человек с уголовной, преступной психологией» (какая умилительная близость к диагнозам Лакшина и Файфера о лагерной порче). «Исповедует тоталитаризм... Самодовольный фашист... Дайте только власть людям, описанным и воспетым Солженицыным, и польются потоки крови», — а это уже совершенно *точно* совпадает с обвиненьями всей третьемигрантской, затем и американской ведущей прессы. (А «Солженицын-фашист» — буквально так инструктировали и в американском госдепартаменте, я уже упоминал.)

Нет, как ни отрекайтесь, но наша гуманистическая интеллигенция имеет с большевиками одни и те же, одни и те же корешки.

Соблазн превратиться в выставочную фигуру, в говоруна, я легко преодолел на Западе, ушёл в работу, никого не трогаю, но разве пресса неугомонная, скандальная — успокоится? Она — должна теревить. В апреле 1981 у наших ворот вдруг замечаем фотосъёмку: дежурят какие-то молодые люди и фотографируют, кто выезжает, въезжает. Журналисты? Аля идёт за ворота. Оказываются — фотографы из «Пари матч», желают «снимать мой образ жизни». — Аля убеждает их, что это невозможно: раз человек не хочет, нельзя ж снимать против его воли. — Но у них задание: очень давно не было вермонтских снимков Солженицына. — Ну, какие-то снимки у нас есть, пошлём в Париж нашему литературному представителю Дюрану, возьмёте у него. — Как будто согласились, уезжают. Прошло 4 месяца, «Пари матч» снарядил в Вермонт новую экспедицию, более наглую. Снова узнаём, что кто-то бродит вокруг, распрашивает, — но не придали значения. Катя, тёща моя, видит невдалеке, проезжая, всё стоящий чей-то автобусик — тоже не обращает внимания. (Потом оказалось — фотографы уже бродили тайком по нашему участку, у нас и собаки ведь нет, и делали снимки, да всё не попадал я.) В это время у нас гостил

Никита Струве, мы с ним ежевечер играем в теннис у самой границы участка — и простежки раздеваемся до одних шортов. Вот отдыхаем между сетами, подходит младший сынок мой Стёпа, собиравший мячи, говорит: «Тут, из-за вала, голова лысая то поднимется, то опустится». Как это? Такого не бывало. Кричу в ту сторону. Тогда по тёмному откосу нашего же участка за деревьями вижу: сбегает какой-то в серо-чёрном. Ещё кричу — тут за валом трещат сучья громко. Шкандыляем туда по сучьям босиком. Их самих уже нет. Но обнаруживаем: они отогнули навес забора над ручьём, оттуда легко пролезали, туда и ушли, впопыхах обронив футляр аппарата. Наверно, уже и уехали. Только тут связываем, что два дня назад долго, назойливо, низко кружился самолётик над нашим участком и крыльями круто наклонялся, — съёмку делал?

Да. Недели через две все снимки появляются в «Пари матч» — и на корте, и с самолёта, и те снимки, которые мы им наивно добросовестно послали. И при них репортаж, начинённый вздором и сплетнями.

А в том же году пишет мне Генрих Бёльль: просит принять для литературного интервью — кого? — корреспондента «Штерна» Серке. Не знаю, чем Бёльлю глаза отвели, да наверно для него «Штерн» — положительный журнал? А у меня от «Штерна» самые тяжёлые воспоминания: и как они извирали мою родословную в самые трудные моменты боя с КГБ; и как «от моего имени» совали в печать «Прусские ночи»; и как пытались судом задержать «Телёнка». Я, разумеется, Серке отказываю. Ничего. Утеревшись, он приезжает в Кавендиш с фотографом, тоже бродит по окрестностям, расспрашивает и собирает сплетни. И это — в тех же днях, что «Пари матч» (а я — и не знаю). Так же и «Штерн» берёт напрокат самолёт, так же нагло, низко, долго в другой день летает над участком. Итак, снимок с воздуха — у него свой. Но нет моего живого — и для этого «литературного интервью» «Штерн» покупает воровской снимок из «Пари матч». А дальше уже сам Серке выкручивайся, сделай вид, что было и интервью, не показывай, что тебя не подпустили. Он так и делает: «Солженицын говорит...» (понимай: ему, Серке, говорит) — и что-нибудь приблизительное к тому моему, что везде напечатано. А — об извечном русском рабстве? «Солженицын отказался поговорить со мной *об этом*». (Подразумевается, что об основном — говорил.) «Биография, являющаяся высокомерие... Предаёт анафеме Запад и Восток... Редко кто принимает всерьёз этого Солженицына... Как и Ленин — ходатай авторитарной системы... Существует неморальность моралистов, человеконенавистничество христиан. Достоевский представил их в фигуре *Великого Инквизитора*». — Вся Тараканья рать такое и твердит, это у них — общий для меня образ, опять сомкнулись, да берут друг у друга.

Какая же ничтожная суэта, какие мелкие перебежки многими ножками.

Впрочем, если доглядеться, и вся серия, в которую был воткнут очерк против меня, неслучайна, вся серия так и задумана: показать благородных художников и изгнанников — «смирненного христианина» Синявского, глубокого мыслителя Зиновьева, возвышенного лирика Бродского, страдальца Войновича — в контраст с лютым грязным инквизитором. И особенно проникновенно о Синявском, кто «жаждет Царствия Божьего», — это «последние наследники искупительного подвига Христа». (Вот ведь, оборотень, каким представился...) Как писал в таких случаях Диккенс: «Слушайте! слушайте!»

Но что этот журналист правильно написал: что я сам себя выталкиваю из западного мира.

И правда: как мне тут жить?

Научит горюна чужая сторона.

Той же осенью — ну кой чёрт подщипывает какую-то «Франс суар», она плетёт: у него шесть вооружённых телохранителей, свора свирепых псов, электрифицированная колючая проволока, но Солженицын освобождён от финансовых забот, его содержит американский миллиардер, имя не названо.

В любом уголке Земли, любой дегенеративный репортёр может печатать обо мне любое враньё — в этом для них святая свобода! святая демократия!

Как мне тут жить?..

* * *

И какими помехами ещё бы меня донять? Да, суды же! Свободные демократические суды. Наша давняя знакомка Карлайл — что теперь должна сделать? После того как злоупотребила моими книгами, загубила дело, и меня же облила ядом в своей книге и затем в лживых статьях, и обвиняла в антисемитизме и в сращённости с новыми русскими фашистами, а я на все её клеветы ответил лишь единожды, подстрочной сноской в американском издании «Телёнка» [3], — что теперь должна сделать? да подать на меня в суд, конечно! Она же — на меня же! И ведь, кажется, эту сноску уж так взвешивали бесстрастно адвокаты издательства «Харпер» и поправляли, уж как обкатано, я удержал про себя все выражения, какие Карлайл заслужила, — нет! супруги Карлайлы подают в суд!

О, великое право личности на защиту судом! Свободный западный человек во всю свою свободную жизнь лишён удовольствия сказать негоднику в глаза, что тот — негодник.

В октябре 1980 Карлайлы дали громкую пресс-конференцию в Сан-Франциско: подают в суд! Солженицын должен узнать, что «он живёт в другом мире». Солженицын должен наконец ответить за то, что нарушил «прайвеси» (частную жизнь) Карлайлов (это после того, что она сама о себе напечатала книгу) — и оклеветал их. И как предварительная (позже будет подсчитана и увеличена) сумма нанесенного им ущерба — 2 миллиона долларов!! А американской прессе только вот эта цифра и нужна. Попорхало по газетам: Карлайлы вчинили Солженицыну иск на 2 миллиона долларов! (Разорить дотла! если дом продать и всё выщипать — и то не расплатиться!) И опять попорхало: она рисковала, вывозила из СССР «Архипелаг» (вовсе не она), — и вот теперь такая ей неблагодарность. (Сразу же — вопль и в Третью эмиграции: «Солженицын дошёл до того, что близкие друзья должны подавать на него в суд за клевету!» — это на лос-анджелесской *литературной* конференции.)

Несколько месяцев перед тем — счастливая, непрерываемая безмятежная работа над «Мартом», как раз подошёл к самым трудным главам завершения первой редакции — прощание Михаила с Зимним дворцом, отречение Михаила, — всё обрубивай! Садись за разборку сваленного архива, ещё счастье, что он при нас, — восстанавливай хронологию «событий», факты, детали, и какие есть на то документы и возможные свидетели — ну, изморение! И все же документы надо представить в английском, нотариально заверенном переводе... Судили меня *там* — судят и *здесь*. Положение подсудимого в свободном мире.

Подано в сан-францискский суд, значит, ещё надо мотаться через континент — адвокатам, а может и мне самому. По американским законам адвокаты могут ещё до суда требовать допроса противоположной стороны под присягой. Итак, я должен буду тянуться на допрос. А потом суд. На суд надо собирать свидетелей. Бетта, правда, покажет, как было. Кое-что знает Никита Струве. А что шло через Хееба — это всё пропало, он ото всего уклонится, уже спрашивали. И, Боже, как больно опять тянуть из души это всё мучительное, эту нашу единственную проваленную линию бывшей тогда борьбы, опять перебирать забытые бумажки, восстанавливать звёнышко за звёнышком, — и что же останется от работы? Душа затмилась, каждый день по несколько раз вспоминаешь.

Тем тяжелей легла на меня эта весть, что именно той осенью 1980 я чувствовал себя особенно, невероятно легко: прочно спал, здоров, приёмист, прекрасно идёт работа, освободился ото всяких глупых забот, как швейцарский скандал с Фондом, и рассчитался с дискуссиями, довольно успешно из них вышел, — и вот теперь только работать! И, кажется, что за мелочь — суд, если не грозит казнь, лагерь, и нет ни муки совести, ни надрыва души, ни потери чести. Разве это можно сравнить с бывалым постоянным давлением КГБ, провалом моего архива в 1965, или мучительным разводом с первой женой?

или случись бы сейчас пожар и уничтожь рукописи — значит, всю жизнь? Да даже проход волков в двух шагах был серьёзней. Да такие ли ещё опасности грозят мне впереди? Да что это в сравнении с тем, как сегодня каждый день угнетены мои соотечественники? да как можно мне, закалённому, потерять душевное равновесие, рабочее состояние — из-за какой дребедени? Убивает ничтожность этого конфликта по сравнению с делаемым делом.

Да, вот что оно значит: *не море топит, а лужа*. Сейчас — западная лужа. В свои последние февральские дни в СССР я заявлял: вся ваша газетная травля не испортит мне одного рабочего дня! И было — так! А здесь вот теперь начинаю жалеть: да стоило ли добавлять эту сноску про Карлайлов? да зачем связался? не хватило смирения — перетерпеть? Сам же в лужу и вступил.

Но нет, нельзя было смолчать на всю её ложь. Это было бы уже унижительно, потеря характера. И ведь она сыграла на общей нашей там подгнётности.

Что ж поделать, озабоченность — это нормальное земное состояние. Подобные случаи в западном мире неизбежны, и моя судьба, наверно, — всё испытать, для полноты картины. Ничего не поделать, кидая работу, начинаю составлять план нашей защиты, возражений, претензий. Приходит длинный иск карлайловского адвоката на длинных, «легальных», тридцати листах с пронумерованными строчками, — змеиный концентрат западного юридизма, но не по-юридически пафосный, с нагнетанием эмоциональных обвинений, — надо же нагнести на 2 миллиона. Иск — не только ко мне, но и к издательству «Харпер энд Роу», однако ясно, что защиту я беру на себя. Какого ж адвоката звать на помощь? Пригожается знакомство со знаменитым Эдвардом Беннетом Вильямсом, который уже демонстративно и благородно брал под защиту погребённого в Гулаге Гинзбурга и, не без его влияния, вырвали Гинзбурга. Вильямс — большой законоискусник и много процессов выигрывал в Штатах. Он присылает к нам в Вермонт своего молодого успешливого помощника Грегори Крейга, родом вермонтца. Несколько часов в напряжении памяти я, по восстановленным записям, рассказываю ему всю досадную историю с Карлайл от 1967 года, с нашими промахами, с её злоупотреблениями. Можно подавать и встречный иск — на её последние статьи против меня. Втащенный в дело, я уже разозлён и теперь готов с ней состязаться до нашего смертного конца, что ж делать. Моё примечание? — только слабая тень того, что я должен о ней сказать. Готов перенести долгий суд, вызывать свидетелей, не жалеть расходов и добиться-таки справедливости. Если я не склонялся перед ГБ — почему я должен теперь склониться перед мелкой пакостью?

Но так говорим, говорим, вспоминаем семь часов подряд, — а на восьмом Крейг объясняет: это будет очень затратно, изнурительно, потянется громкий процесс, всё будет переполаскиваться газетами, телевидением, и в лучшем случае всего лишь докажет вину Карлайл передо мной, — и так ли это много? стоит ли того? и денег? Вот как распаляет бесчеловечная судебная хватка — *он мне* должен доказывать, что — не стоит того, что я слишком оторвусь от работы. У Крейга другой план: издав книгу, Карлайл сама себя сделала так называемым «общественным лицом», — а про такое в Америке можно выражаться свободно. Итак, доказывать, что моё примечание не даёт оснований для её иска. Оно — всего лишь выражение моего личного мнения об общественном лице.

Такова система! — легче любой путь, нежели прямо доказывать правду.

Совет разумен. Ещё который раз приходится считать невозможным объясниться с Карлайл так, как она заслуживает. Свобода, при которой у всех скваны уста и все ползают в компромиссах...

Принимаем план Крейга. Но даже это требует огромной работы адвокатской конторы. На таких же длинных легальных тридцати листах с пронумерованными строчками составляется такой же изнурительный юридический документ, переполненный прецедентами (американское судопроизводство — не так на законах, как на прецедентах): когда, кем и где было отведено обвинение в клевете и утверждено право выражения мнения. (Эти прецеденты теперь

извлекаются из судебной истории страны компьютерами.) Документ составлен, видимо, сильно. Перед судебным слушанием в июле 1981 он вручается противной стороне и должен произвести впечатление.

И — как же поступает Карлайл? Уже, кажется, зная её характер — я мог бы догадаться. А не ожидал шага. За три-четыре дня до слушания её адвокат передаёт через нашего мне — предложение капитулировать!! Карлайлы, так и быть, согласны погасить иск, если я сделаю публичное заявление предлагаемого мне типа: «Мне не были известны обычаи и природа издательской индустрии на Западе. Ввиду озабоченности супругов Карлайл моими заявлениями в „Телёнке” я хотел бы уточнить: я не имел в виду, что Ольга Карлайл распорядилась моими гонорарами бесчестно и корыстно или что помощь супругов была мотивирована желанием финансовой прибыли. Не имел в виду, что они умышленно вводили меня в заблуждение о сроках опубликования „Архипелага”. А если такие толкования возникли, то я очень сожалею и огорчён ущербом, который мог последовать для Карлайлов».

То есть мне предлагали подписать — прямо наоборот тому, как было и как я готов был доказывать? Одновременно — и писательское самоубийство: отвлечься от одного абзаца в такой книге, как «Телёнок», — значит поставить его весь под сомнение, — да тогда и все остальные книги? Когда я и без того окружён стеной клеветы — вот только этого ещё и не хватало.

Я возмущён был не только Карлайлами, но даже и моим милейшим адвокатом: зачем он взялся передавать такое унижительное требование? создал ощущение слабости, которой у нас нет! Крейг отвечал, что так полагается, он обязан был передать.

Ответил он им холодным звонком отклонения.

23 июля в Сан-Франциско состоялся суд. Тщательный рассудительный судья Вильям Шварцер (да опираясь на превосходную аргументацию Крейга!) жёстко выговорил Карлайлам, что их иск — вовсе неоснователен.

А ведь вполне могло быть иначе — и тянуться, и тянуться, и мотать, и опозорить, и разорить, под всеобщее ликование.

Телеграмма — «судья выкинул иск Карлайлов из суда» — была большой радостью, просто камень спал, девять месяцев давил.

Но бессудебный перерыв продлился недолго.

Неутомимый Жорес Медведев, после неудачи его попытки судиться со мной от имени Якубовича, — в октябре 1981 предпринял новую попытку: тоже по поводу примечания о нём в английском издании «Телёнка». При выходе его — Жорес снёс всё там написанное: и что он, за годы на Западе, выражал разнообразно поддержку советской политики, и даже что он находил извинения для насильственной психиатрии (и сам же её жертва), — не оспаривает всё это и теперь, а вот к чему прицепился: к замечанию, что в книге своей он напечатал рисованный план, как пройти к моей московской квартире (беззащитной для провокаций, и с малышами). — Так ныне он писал письмо в издательство «Коллинз», что такого плана *не было* в его книге, и он может теперь подать на меня в суд (ещё пока обдумывает, не подаёт). Издательство «Коллинз», как всегда, сразу размякло, сразу кинулось извиняться, что оно не отвечает за это примечание и предполагает не перепечатывать его больше. С опозданием дошла переписка до меня. — Что за чертовщина? Мы же видели эту книгу с планом (пригласительный билет на московскую нобелевскую церемонию) ещё в Москве — и возмущались, и из Москвы «по левой» писали Жоресу в Лондон, — и вдруг никакого плана не было? Жорес объясняет теперь издательству, что пригласительный билет был сфотографирован только для самого раннего издания его книги, в малом числе, — но не с той стороны, где план, а плана — вообще не было там.

Не знаешь нужды: зачем бы мы его книгу везли из Москвы? Там она где-то и затерялась. А где теперь взять? Ищем. В позднем издании — вообще никакого пригласительного билета. По заказу находят нам раннее издание, «самое первое», — действительно, Жорес прав: пригласительный билет, но не с той стороны, где план. Да что ж, у нас очи повылазили? Мы же видели, оба с Алей! мы же писали ему протест.

Но к счастью: наш друг и доброжелатель Алёша Климов, интересуясь всем, что меня касается, когда-то купил самое наипервое издание, а потом подарил его Майклу Никольсону в Англию. Теперь телефонирует ему туда — посмотреть. У-у-уф. Конечно, всё на месте, с планом.

Значит, Жорес в 1973 по нашему протесту из Москвы молниеносно сменил тираж — и теперь, уверенный, что раннего издания не сохранилось, брал нас на арапа. Но так как уверен не совсем, то не сразу в суд, а пока — угроза, проверить.

Никольсон послал ксерокопию плана напуганному «Коллинзу» для предъявления плуту.

Замолчал Жорес пока. (Да сейчас он подал в суд на Буковского.) Впрочем, нельзя быть уверенным, что вовсе отказался. Ещё что-нибудь выкинет.

Но и на том не кончаются наши судебные передраги. Уже с конца 1978 потянулся слух из Парижа, что в «Имку» зачастил недосуженный ею когда-то Флегон, ведёт расспросы сотрудников о смерти И. В. Морозова, и вообще о делах издательства, и даже не скрывает, что хочет писать разгромную книгу о Солженицыне и об «Имке». Осенью 1979 Флегон и мне прислал о том наглое письмо. Добивался, собственник ли я «Имки» или держатель акций, и страдаю ли я от паранойи, и лечусь ли, и называл меня профессиональным лжецом, — уже этим письмом надирался на суд, по западному этого достаточно для суда. Я оставил без внимания.

Весной 1981 из разных русских библиотек и магазинов, с разных концов Земли, даже из Бразилии и Австралии, стали мне переправлять рассылаемую Флегоном рекламку, на английском и русском языках, его опуса «Вокруг Солженицына» — «литературной бомбы», в которую заодно Флегон включает запрещённые стихи русского прошлого, как его издательство уже напечатало «Луку Мудищева» Баркова. Скоро эта бомба «станет библиографической редкостью и будет продаваться по цене превышающей». Затем из Парижа Никита Струве прислал мне и сам флегоновский двухтомник.

Читат ь эту книгу? — да с первого же перелиста видно, что Флегон резко сорвался, — сорвался уже в одних фотомонтажах и рисунках. Несколько раз я представлен в виде православных ликов — то под Христа Спасителя; то — с орденом Ленина на груди; то — святой с крыльями; то Георгий Победоносец, то — благословляю с церковно-славянским свитком в руках, — и всюду, глумливо, кресты, кресты в изобилии, и традиционное обрамление православных икон. Ненависть к православию у Флегона — бесовски безудержная. И — вообще к исторической России: десятки и десятки карикатур или изображений той отвратительной страны, но за прошлые века, прежде большевиков. И ещё я — в генеральской форме, под царской короной. И вперемежку с тем — монтажи меня же с голыми женщинами, и сам я — рожаю, а вот в виде проститутки, а вот вмонтированы мои фотографии в разное порнографическое окружение ещё несколько раз, — порнография, видимо, главная страсть и слабость Флегона, в которой он удержу совсем не знает, в ущерб себе же. Нецензурщиной, прямым матом, похабными стихами усеяны десятки и десятки его страниц, куда ни глянь. И без чтения видно: это настолько разнуданно, что по лобному монтажу можно подавать на Флегона в суд.

Но книга уж настолько ниже всяких требований простого человеческого приличия, что сама оттолкнёт читателей, кроме самых заядлых моих врагов, — вступать с нею в спор было бы непристойно. Такая грязь — и лучшее свидетельство распушенности до безграничья «свободной» печати. Именно такими

помоями и должна была она в конце концов отозваться*. (Кстати, книга Флегона вопреки всем издательским законам не содержит никаких выходных данных, и адрес липовый.)

Но на что рассчитывает Флегон? Не может же он рассчитывать, что устоит в суде. Значит — он хочет суда как рекламы для своей книги. Судебный запрет на книгу? Вот тогда она и начнёт ходить. Материальные потери? — Флегону не страшны, за его спиной, видимо, большие денежные средства. (Книга не пошла, и к осени 1981 он разослал вторую афишку: якобы «были оформлены бумаги для подробного разбора книги в английском суде», — кем оформлены? где? и что с ними дальше? — жадно мечтаемое.)

Так не дождётся он суда со мной.

Да не просто хочет он суда — он страстно жаждет его, он только и живёт в судебной атмосфере. Он уже судился, судился многократно, вокруг моих только книг несколько раз, когда пиратствовал. Он судился и с Максом Хэйвордом из Оксфорда, и с покойным Леонидом Раром из «Посева», за статью о своих пиратских изданиях. Он судился с журналом «Прайвит ай» — доказать, что не связан с Луи, — а нет сомнения, что связан: Луи и привёз ему приглаженную в ГБ рукопись Светланы Аллилуевой для опережающего издания, сбить спрос на подлинную, из того вытекло и судебное дело Флегона с Аллилуевой. И ещё с другими издательствами Флегон судился. И частенько выигрывал. А если проигрывал — то объявлял себя банкротом, и почему-то, по английской системе, это всегда безболезненно сходило ему с рук. Флегон и есть тот всевечный тип, который зовётся сутягой и кляузником.

За выходом этой его последней книги, сразу же, весной 81-го года, — такой эпизод: в респектабельный английский книжный магазин заходит русский эмигрант Олег Ленчевский, просматривает книгу Флегона — и в простодушном порыве пишет частное письмо владелице магазина Кристине Файл: как вы можете торговать такой псевдолитературой и порнографией? И что же делает эта дама (могла бы, и не зная русского языка, убедиться по иллюстрациям и побрезговать)? — она посылает Флегону копию письма Ленчевского. А что делает Флегон? Немедленно подаёт в суд на Ленчевского: ведь тот клеветнически утверждает, что книга порнографическая! (Что и видно с первого взгляда.) И начинается — судебный процесс! Ныне идёт.

Хоть два, хоть три суда сразу — видимо, нисколько не тревожит Флегона, это — его болотный воздух. И он ждёт, ждёт — чтобы я подал в суд. Ждал полгода. Не дождался. И тогда, в ноябре 1981, — подал в суд *на меня!* («Джюиш кроникл»: «Писатель привлекает к суду писателя», «Санди телеграф»: «Писатель привлекает к суду Солженицына».) Подаёт в суд — опять же на «Телёнка», на русское издание 1975 года, и английский суд не сумняшесь принимает иск.

Впрочем, после Карлайл уже не так удивисься.

И полугодом мы не прожили без суда: от развязки с Карлайлами всего лишь месяца три. С англосаксонской важностью приехал к нам домой местный вермонтский судейский чиновник и вручил иск от Флегона в британский Высший суд. (Между Англией и Штатами будто такой договор: иски действуют. Может быть, можно было не принять повестки? Аля не нашлась. Ну да изыскали б они способ вручить, наверно.)

За что же — он-то на меня?

Я и думать забыл: в 1972 в Москве, в интервью со Смитом и Кайзером, была такая моя фраза: «Публикация в „Штерне“ руководится из того же центра, откуда и пиратские издания Флегона и Ланген-Мюллера, которыми хотели подорвать систему международной защиты моих книг». Как уже сказано

* А израильский журнал «Круг» отозвался так: «Флегон сражается с Россией»; «никакой русский, а тем более еврей из России, не смог бы переступить свои духовные рубежи с такой безоглядностью». Флегон, де, *доказал*, «что все традиции цензуры, наказаний и тюрем были в царской России страшней, чем в СССР». (Примеч. 1986.)

(глава «Хищники и Лопухи»), Ланген-Мюллер незаконно издал «Август» по-немецки, а Флегон — и по-русски, и по-английски, из-за того уже тогда судился с «Бодли Хэдом». Вся эта картина — подрыва моего самостоятельного издания на Западе, подрыва прав моего адвоката — тогда была очень наглядно видна, и казалось ясно, что этим руководило КГБ, — а моё необычное положение в СССР позволяло мне (да я тогда и не задумывался над юридическими последствиями) безущербно высказывать обвинения и на Востоке, и на Западе. Так и прошло. Тем местом в интервью Смит и Кайзер пренебрегли, по-английски оно не напечатано, только по-немецки. Но в начале 1975, когда в Париже издавался «Телёнок» по-русски, интервью с американцами вошло туда как приложение. И теперь, в конце 1981, можно на это подавать в английский суд? А давность?

Оказывается, изумителен британский закон давности клеветы! Во Франции — три месяца от появления, опоздал пожаловаться — пролетело. (Французы остры и успевают потрепать друг друга оскорблениями.) В Соединённых Штатах — обычно год. В Англии — 6 лет. Так всё равно прошло, уже 6 с половиной? Ничего подобного. Действие клеветы считается *начавшимся* после того, как будет продан в Англии *последний экземпляр* книги. То есть если где-нибудь в одном книжном магазине ещё пылится один экземпляр — давность клеветы ещё не начинала даже исчисляться. А по договорам с другими странами (упаси Бог будущую Россию от этих привередных договоров!) — иски осуществляются по этой давности и в других странах. То есть наследник Флегона ещё и в XXI веке может подать на моего сына или внука где-нибудь в Австралии за эту мою фразу в Москве в 1972 году.

О, британский суд! — твердыня всеевропейского правосознания!

Так вот в чём иск Флегона: из фразы получается, что он — агент КГБ. А он, мол, — не агент!

Бумажки клочок — в суд волочёт.

Ничего не стоило практически погасить его иск: немедленно подать встречный, что он оклеветал меня хуже того в своей книге. И всё будет перекрыто, и его книга будет запрещена. Но это — именно то, чего он хочет, это ещё худший долгий громкий суд, и тогда-то его книга и станет запретным желанным плодом.

Я не шевельнулся.

Вскоре Флегон не выдержал, проговорился в письме к моему уже теперь взятому адвокату в Англии: Солженицын знает, что может остановить мою книгу в 24 часа, но пальцем не шевелит. Если он не согласен с моим описанием — почему он не останавливает книгу? Его долг, если он честный человек, встретиться со мной в суде. И ваш долг, как его представителя, — остановить книгу через суд!

Верно мы разгадали его замысел.

Но вот идиотское положение: будучи только что сверх меры облит грязью из этих зловонных рук — я должен кротко отбиваться от его обвинений в том, что я его оболгал 9 лет назад.

Первое моё чувство было — просто игнорировать флегонский иск: ну что там может быть за суд из Англии в Штаты? да ещё при такой давности (давность меня всего более поражала)? да ещё при неопределённости той моей фразы? да не может же Флегон серьёзно строить на этом суд, какой же это идиотский должен быть суд? Флегон, конечно, в этой форме просто провоцирует меня на встречный иск — но как раз его он и не дожждётся. Пусть заочно производят там суд, а что присудят — я и не признаю.

Однако надо было посоветоваться с Вильямсом и Крейгом, моими недавними и блистательными спасителями против Карлайл. И Вильямса первая мысль тоже была — пренебречь, но Крейг убедил, что надо выставить защиту.

И вот опять искать адвоката, на этот раз в Лондоне? Вильямс посоветовал одного известного ему там, Ричарда Сайкса. Но мне теперь снова вести переписку английским юридическим языком? — о, Боже! И каждый новый суд —

это розыск и розыск давно затерянных бумажек, как будто ненужных. Только то облегчение, что английсий суд не может вызвать меня на допрос. Всё прокипит где-то там, а мне лишь — платить, больше или меньше. Защитить в суде мою фразу 1972 года трудно; сейчас, при западном опыте, я бы выразился поаккуратней. Конечно, о Флегоне у меня лишь цепь умозаключений по его многим действиям относительно меня и других. И ещё же: этот якобы «румын» легко выехал на Запад, поселился в Англии и активно занялся халтурным изданием оппозиционных книг из СССР. И в союзе же с Луи. И. А. Иловайская передала нам рассказ Булата Окуджавы, что как-то Флегон приезжал к нему в Мюнхен (он издал пластинку Окуджавы) и в нетрезвой откровенности признался, что отец его *Флегонтов* сотрудничал ещё с ГПУ, был на подпольной работе в Румынии (где и рос сынишка и, видимо, наследовал жизненный путь папаши). В передаче Иловайской: возвратясь в Москву, Окуджава рассказал об этом гебисту «секретарю СП» Ильину, — тот выругался о Флегоне: «Проболтался, дурак!» (Рассказ может быть не вполне точен в передаче.)*

И Окуджава вот снова в Париже был как раз сейчас, но неудобно просить его свидетельствовать: советский человек не может решиться на такие показания западному суду.

Итак, дело ещё потянется. Сейчас, когда я дописываю эту главу, дело только разгорается. И может быть — проиграем.

Так ещё и этими судами потрепал меня Запад. Всем, чем мог, — верхоглядными или низкими суждениями, клеветой, судами. На Востоке — ГБ, тюрьма, тут — свои формы. Флегон — это ещё новое испытание, когда в ответ на клевету хочется сорваться в резкий поступок — а нельзя, нельзя.

Немало было сделано за эти годы, чтоб утопить меня в мелочах и в помоях. Но сил у меня — ещё много. И, кажется, я проплыл, не утопили.

Вот такие были мои спокойные годы для бестревожного творчества в Вермонте.

А тем временем по одиночке ускользали, уползали из-под советских лап и десятки известных и сотни прежде молчаливых, о ком раньше и подумать такого было нельзя, — а на Западе у всех обнаруживались честолюбия, претенциозные перья, программы и замыслы. Перемещаясь на Запад, где объём эмиграции гораздо меньше, чем объём образованного круга в СССР, — они становились тут как бы крупнее, заметнее, да ещё при наивной доверчивости западной публики. И первой их мыслью, и первым движением было — поливать бранью, но не коммунизм, а Россию и русский патриотизм, а значит заодно — и меня. И этот поворот против меня, и модность этих укулов быстро перенимались и размножались на Западе, ещё и в мои европейские годы, а я как-то и не вникал, не слышал толком, внимания не придавал, а потом с наслаждением нырнул в работу в Пяти Ручьях — и ещё меньше замечал, какой идёт множественный против меня поворот в Америке. Лишь постепенно обнаружилась вся густота и обширность брани, и что я, не как прежде, союзников почти нацело лишён, а — толпы и толпы неприятных. Когда-то был — один враг, Огромный, а тут — множество мелких, неперечислимых, Тараканья Рать. Не одно зевло драконье, а множество мелких, и — как против них? Не наставлять же пику отдельно на каждого? не разбирать же по именам, и каждый их куций шажок?

А между тем: совокупным кишением этой Рати — удалось достичь, чего не могла вся Советская Машина: представить меня миру — злобным фанатиком, безжалостным тираном и действующим предводителем химерических полков. И, наверно, теперь — это надолго припечатано.

Но сама работа моя подсказывала и лучшую естественную тактику: проплывать годами немой льдиной, не отзываясь на сотни их опережающих уку-

* А теперь вижу, как, в художественном преображении, вся история описана и опубликована самим Окуджавой в рассказе «Выписка из давно минувшего дела». (Примеч. 1994.)

лов. За работой, укромясь от них ото всех, я могу спокойно пережить и четыре таких травли, и в четыре раза гуще. (Да Булгакова они же сильнее травили и опасней, тогда из чекистских подворотен, — так что после газетной статьи да жди, Михаил Афанасьич, стука в дверь.) Теперь они много раз будут высказывать, выюливать, вытягивать на себя ответ. Но у них короткое дыхание, и весь гнев и пафос они нерасчётливо истрачивают сейчас, ещё до моих главных томов. А я плыву себе молча.

В уединении — удивительным кажется это нервное самоистязание их и раздражение, чем они там живут. А я — трёх четвертей написанного ими и во все не читал до последних дней, как писать вот эту Вторую Часть, — теперь пригодилось. И вижу: э-э-э! — поворотливые, лживые, выхватливые, сиюминутные, — однако они все вместе обдают — что там меня! — целую Россию валами облыгания, в том же направлении подтравливая и готовый к тому Запад. И какой же у них численный переизбыток.

Так ещё и это взять на взвал?

Да, хотя бы разок всё же надо их предупредить.

И — написал, легко, быстро, — «Наших плюралистов»*.

Глава 8

ЕЩЁ ЗАБОТАНЬКИ

Кажется — сидели в отшельстве и не было никаких событий эти четыре года. А просматриваю беглые записи, иногда сделанные попутно, для памяти, — ох, много! ох, опятьросло. Мы сидели — так охудатели не сидели.

А ведь зарекался я: уйдя в историю — не соревноваться с современностью. Просветить Запад — что Россия и коммунизм соотносятся так, как больной и его болезнь? — видно, не по силам это мне. После моих статей 1980 в «Форин Эффэрс» особенно видно, какой это неблагодарный путь — толковать Америку. Да что вершителям политики нужно знать — то они отлично понимают, только не вслух.

И ещё, как ни странно, демократии любят лесть едва ли меньше, чем тоталитаризм. Американская демократия — жадно любит лесть, её так приучили. Другое, к чему привыкла американская публика, — непрерывное повторение, как же именно расставлены предметы, неустанное повторение одной и той же простейшей мысли много-много-много раз, — ну разве это работа для писателя? — заново и заново рожать всё ту же аргументацию.

Но как я в Америке ни оболган — всё ещё сохранилось у меня немалое влияние, или любопытство ко мне, и всё льются из разных мест, из разных стран приглашения выступать. И я — здоров, могу ехать куда угодно и выступать в любой форме.

А — не для чего. Не захотят понять. Не то им надо.

Разумны — только самые умеренные усилия: в чём можно — создавать более доброе отношение к коренной России.

Хотел бы молчать, молчать — но нет, не отмолчишься, обстоятельства вытягивают. Вот в апреле 1981 из Украинского института в Гарварде получаю приглашение на «русско-украинскую» конференцию в Торонто. Из письма видно, что предполагается основательное измолачивание двух приглашённых русских: Оболенского из Оксфорда и меня. А надо сказать, что, неожиданно, яростнее всех в Америке отозвались на статьи в «Форин Эффэрс» почему-то — украинские сепаратисты. Даже и понять нельзя, но в чём-то увидели они там угнетение своей национальной мечты и объявили меня — даже сумасшедшим. Я пытался очистить Россию от радикальных и мстительных клевет — и что ж

* «Публицистика», т 1, стр. 406 — 444

они накинудись? Да вот, они почти откровенно так и выражают, что с освобождением их родины от коммунизма они готовы и потерпеть, а только — утеснить бы москалей с лица земли; им жаждет признания, что весь мир страдает не от коммунизма, а от русских, и даже маоцзедуновский Китай и Тибет — русские колонии. (Ведь именно украинские сепаратисты протащили через Конгресс Соединённых Штатов тот закон 86 — 90, что не коммунизм всемирный поработоритель, а — русские.)

Руки опускаются. Боже, какая ещё одна вопиющая пропасть! И когда же она так разрылась? Тут и Польша вложилась веками, тут и австрийцы подстрастились в начале века, тут наронено и русского братского невнимания, и натравлено спектаклем советской «национальной политики» (в 1938 в Киеве я не увидел ни одной русской вывески, ни даже дубликата надписи по-русски), — и кому, и когда достанется этот жар разгрести? Когда я был в Виннипеге — мы говорили с головкой украинского Конгресса так, кажется, примирённо, ненапряжённо, — а вот? Вздывают до высшей боли и взрыва.

Когда-нибудь, время ждёт? Нет, вот неизбежно отвечать, — и при ответе ограничиться, а не отписаться. Ответить открытым письмом*. В Институт послал им тотчас, сама конференция в октябре, но решил опубликовать в июле, перед тем, как будут выплясывать очередную «неделю порабощённых [русскими] наций».

И хотя я написал в самых мягких тонах, как я и чувствую этот вопрос, я душой ощущаю и украинскую сторону, люблю их землю, их быт, их речь, их песни; хотя напомнил свою собственную принадлежность к украинцам и поклялся, что ни я, ни мои сыновья никогда не пойдут на русско-украинскую войну, — в украинских эмигрантских газетах и это моё письмо было встречено всё так же ругательно.

О, наплачемся мы ещё с этим «украинским вопросом»!.. (И ещё надо изучать все подробности давней и недавней истории, и на это — тоже время...)

А вот — текут и текут ко мне жалобные письма от наших русских с радиостанции «Свобода», какое там накаляется враждебное к русским засилие, какой это стал чужой для России голос. В составе «Свободы» есть 15 редакций на языках основных наций СССР — и работают они в круге интересов именно *этих* наций, с *их* точки зрения. Справедливо. А 16-й, по названию «русской», — отказано в этом: «собственно русских» интересов, потребностей, взглядов — и быть не может, на это наложено табу из Вашингтона. 16-я редакция — «общесоветская», и из её скриптов свои третьеземлянтские и надзирающие американские инспекторы тщательно вычёркивают все «неподходящие» им события русской истории, её деятелей, мыслителей, или кастрируют их высказывания, — гася и гася русское самосознание.

И вполне объяснимо: совсем далёкие американцы, на свои американские деньги, — почему они должны искать, что важно и полезно для России, а не сеять то, что, в самой ближней наглядности, в интересах Соединённых Штатов? Но и — как же мне не попытаться хоть что-то, уж совсем невыносимое, исправить? Это — надо сделать, это — для России.

К осени 1981 как-то особенно набралось у меня этих русских жалоб и этих разительных примеров цензурирования скриптов — и тут же молодой энергичный консервативный конгрессмен Лебутийе предложил взять у меня телевизионное интервью специально об американском радиовещании на русском языке. Наше интервью не уместилось в отведенные полчаса (отчасти из-за обилия моего материала, отчасти из-за его занозных политических вопросов), телекомпания NBC обещала ему освободить ленту полного часового интервью для передачи по образовательному каналу — а сама для своей передачи порезала её необратимо. И так — телеинтервью почти пропало: смонтировали неудачно, важное выпало, и передавали после часа ночи. Лишь то — однако

* «Публицистика», т. 2, стр. 548 — 552.

очень важное — подхватили все газеты, что я предостерегаю Соединённые Штаты от военного союза с Китаем. С полугодовым опозданием английский текст моих ответов напечатал правый еженедельник «Нэйшнл ревью» — из него перепечатавали в Канаде, в Австралии*.

Я же и в самый день съёмки уже понял, что не помещаюсь, что материал превышает возможности интервью, — и решил избыток дать не в другую публикацию, не в новые дискуссии, но в прямое дело: в тех же днях, в октябре 1981, написал на ту же, русско-американскую, тему письмо Президенту Рейгану с обильной аргументацией и приложением фактов**. Написал, что, разумеется, не жду от него ответа — но прошу вникнуть в суть проблемы.

Кажется, в Белом доме мои посланные соображения оказали некоторое влияние, произошли перестановки на «Голосе Америки», на «Свободе». Рейган даже, вот, публично высказался, что радиовещание — главное оружие Америки. Но всё это на ошупь, что-то где-то медленно бюрократически проворачивается, однако уже прошло рейганского президентства полтора года, — а ничто не сдвинулось! У нас на родине и посегодняя царит представление об «американской деловитости». А и в помине нет её в аппарате власти. Чем острее вопрос, тем американская демократия медлительней, неуклюжей.

Рейган, видимо, не забывал наших заочных отношений 1976 года. Накануне дня его инаугурации 20 января 1981 года к нам в Кавендиш дозвонились из Вашингтона: в этот день Президент хочет позвонить мне из Белого дома, будучи ли я у телефона? Такой звонок был демонстрацией. Аля попросила, чтобы нас предупредили за 15 минут. (В доме, где я работаю, вовсе нет телефона, и обычая у меня телефонного нет, годами не беру трубки — это важное условие ровной работы.) Я набросал, что примерно ему скажу:

«Господин Президент! Вы и без меня сегодня богаты всякими добрыми пожеланиями. Но и я желаю Вам — славного и твёрдого правления. А в частности и особенно желаю — не только как русский, но и как член угрожаемого человечества, — чтобы Вы всегда отчётливо отделяли, где Советский Союз и где Россия; где коммунизм, а где русский народ».

Однако Президент — не позвонил. Да трудно было ему в тех церемониях прерваться. (Или, скорей, решено было, что такая демонстрация — слишком резка для начала.)

А не прошло двух месяцев — стрелял в него молодой негодяй. И как, если не Божьим чудом, объяснить: пуля в сантиметре от сердца — и такое быстрое выздоровление 70-летнего человека? Ещё острее стало наше сочувствие к нему.

Да! — нужен этот президент, в его отчаянной попытке укрепить мир перед амбициями коммунизма.

В первой своей речи после покушения, весной в университете Нотр Дам, он много цитировал мою Гарвардскую речь, — о падении мужества на Западе, и как сдали нервы американской интеллигенции от Вьетнама, какая ошибка искать соглашения с Кубой, о катастрофе гуманистического безрелигиозного сознания, потерявшего Высшее. Это обращение взора к Богу было Рейгану — своё, у сердца.

В следующие месяцы приходили ко мне — не прямые от Рейгана, но через влиятельных вашингтонских лиц — предложения обсудить возможную нашу с ним встречу. Даже и американский посол в Риме послал такой запрос своему знакомому адвокату Гайлеру, защищавшему наш Фонд: при каких условиях принял бы я приглашение нового Президента посетить Белый дом? Я отвечал всем посредникам одинаково, и с совершенной прямоотой: если при встрече будет возможность существенного разговора — я готов приехать; если планируется символическая церемония — нет.

* «Публицистика», т. 2, стр. 554 — 577.

** Там же, т. 2, стр. 578 — 588.

После этих-то запросов я и счёл себя вправе послать Рейгану письмо о состоянии радиовещания.

В начале зимы 1981 — 82 через двух сенаторов, Кэмп и Джексона, стали доходить до нас слухи, что в Белом доме готовится официальное приглашение мне, уже «лежит на столе». В начале зимы! — когда я особенно погружаюсь в невылазность работы, не выезжаю за ворота, ни даже к парикмахеру, жена стрижёт. Говорю Але: «Буду оттягивать до весны». Она: «Да какое ты право имеешь? как ты можешь диктовать Президенту время?»

Однако стал я размышлять. Может ли что реальное сделать Рейган, чтобы круто изменить отношение Соединённых Штатов к исторической России в отличие от СССР? (Да любая американская администрация по-настоящему не свободна, она под сильным влиянием и явных, и неявных кругов.) Он мог лишь высказываться дружелюбно к России — и делал это. В лучшем случае я мог желать от Рейгана только небольшого усвоения русской точки зрения, чтоб это отразилось хотя бы на части радиовещания. Укреплять Рейгана против коммунизма? К счастью, он в этом не нуждался. Рейган и так совершает немало, хотя бы экономику вытягивает. Этой зимой я впервые стал смотреть и телевизионные новости (раньше — только радио), ещё убеждался в человечности Рейгана, душевности, юморе, — и охотно был бы готов ему помочь, если бы он решил, что в том нуждается. Но долг путь обсуждений, а ещё дольше для него путь самих действий. А поехать мне в Вашингтон — неизбежно ещё с кем-то встречаться, в чём-то участвовать, выступать перед прессой, по крайней мере неделю потратить, разрушить работу, — а толк-то вряд ли будет, стоит ли того? В общем, хотел я, чтобы встреча, если неизбежна, — была бы попоже.

И зима, в самом деле, была ко мне милостива. А суета со встречей взорвалась в начале апреля. Сперва — окольные телефонные слухи из Вашингтона: якобы вместо предполагавшейся личной встречи с Президентом (а уж за ней многолюдного ужина) — планируется ланч, где я — в числе десятка приглашённых, кажется, отставных диссидентов.

Мы не поверили, тут что-то не так: я же заранее всем «разведчикам» ясно ответил, что ни для какой *церемонии* в Вашингтон не поеду, — тем более для символики компанейского ланча. Затем сообщили нам, что Ричард Пайпс, ныне — советник в Белом доме, и на важном месте, — не может разыскать наш телефон (его нет в справочниках), и просит ему позвонить. Странно, телефон наш Белому дому известен. Аля позвонила, это было 7 апреля. Пайпс торопливо объявил, что Солженицына приглашают 11 мая на президентский завтрак с семьёю-восемью «представителями национальностей», о чём официальное письмо придёт через неделю. Ничего сверх того не объяснял, ничего внятно не спрашивал, — и Аля, разумеется, разговор не длила.

Ну что же, вот и очевидная ясность: не ехать. Придёт обещанное приглашение — и пошлём отказ.

Куда там! На следующий день в «Вашингтон пост» статья — и сразу трезвон повсюду — Президент собирался встречаться с Солженицыным, но его отговорили, будет только завтрак с группой диссидентов.

Вот как? — *отговорили?*

Это — особенность организации всех высших американских учреждений: в них никакие секреты не задерживаются. Да даже, кажется, нельзя отказать, если приходит представитель прессы: о чём бы ни спросил — на всё нужно отвечать. А к Пайпсу хаживает такой маститый журналист, как наш знакомец Роберт Кайзер. И Пайпс сам рад открыть ему свою проницательность, как он сорвал реакционную встречу Президента с Солженицыным. А Роберт Кайзер рад всё это напечатать, показать свою осведомлённость:

«Некоторые чиновники рейгановской администрации посоветовали Белому дому не устраивать частной встречи с Солженицыным теперь, так как он стал символом крайнего русского национализма, который ненавистен многим советским правозащитникам».

(Так это они и есть — «представители национальностей»? Как будто какие нации их выбирали. Обыкновенные прежде диссиденты, нынче эмигрантские политики.)

Ай да пресса! Кайзер выдавал подлинную причину, как и почему была подменена встреча с Президентом. Конечно, Пайпс испытывал ко мне личную ненависть и проявлял её последовательно, и всюду, — он не мог простить мне критики его извращённой Истории России, принимал её как личное оскорбление (в «Форин Эффэрс» я и правда не слишком галантно уподобил его «волку с виолончелью»). Но и сам Пайпс действовал не как отдельность, а выражал настроения американской «элиты», её густой струи, — и я был лишь физическим символом отвратительной им России — России, которая была растоптана в Семнадцатом году, и кажется навсегда, и не смела возродиться ни в какой, даже духовной, форме, ни даже мысль о ней, исторической, — а в моих книгах возрождалась, и как будто живо. Подменной процедурой президентского завтрака не только меня унижали, это бы на здоровье, — но указывали, каково отведут место и чаемой нами России, будущей. До какого же глубокого падения докатилось русское имя на Западе, если над нами тут устраивают такие балаганные номера?

Однако спасибо за выболт, без вашей бы болтовни вас и за хвост не схватить.

Так, ещё за месяц до встречи, не только было нам ясно, что я не еду, но и складывалось отказное письмо. Аля, взволнованная всем событием намного больше меня, да ещё всевременно будоражимая телефоном, — то и дело приносила мне варианты отказных фраз, многие и вошли в письмо, это мы вместе составили. Задача письма была — представить весь расклад сжато, но в его подлинном не-личном масштабе. И при том — не обидеть Президента, жалко, что его втянули в игру против воли и против его собственного видения. Отделить Рейгана от советников. И чтоб это внятно звучало для соотечественников. И внушительно для Старой Площади.

Первую встречу со мной при Форде сорвала боязнь Белого дома перед Москвой, теперь — подчинённость Белого дома противорусским влияниям. Но формулировка Пайпса-Кайзера давала мне возможность, и даже обязывала, ответить шире, чем на одну эту подмену.

Тем самым — письмо становилось вынужденным, но крупным, и даже вызывающим, шагом.

Как всякая борьба, и эта — заставляет ступать и обнажать бока раньше времени. Но когда-то же приходят и сроки, хотя и медленно текут реки истории.

Следующие недели часто звонил к нам телефон, и всё новые долетали перемены, перехватные вести, предположения, вопросы. Вот уже узнаём, что набирают компанию — как бы специально во вражду и унижение мне, там — и Чалидзе, и оскорблявший меня Марк Азбель, и — Синявский... (писатель! эстет! из Парижа! — и жалко спешит, как только поманили, к вашингтонскому столу). А из Белого дома — удивительно — так и нет обещанного письма (Аля пожимает плечами: «неприлично»).

Но пока нет приглашения — не на что и слать отказ.

Тем временем сенаторы-доброжелатели, расчужив, что происходит (в канцелярии Белого дома их ещё и обманывали), — потребовали, чтобы к программе была бы добавлена отдельная встреча со мной, перед ланчем, хотя бы самая краткая. (А — зачем мне такое? И вовсе не нужно.) Но и эта вся попытка, с куцей 15-минутной аудиенцией (7 с половиной минут при переводе...), мучительно томилась в Белом доме: очень боялись даже самой короткой отдельной встречи, — и эта добавочная оговорка так и не вырвалась из канцелярских недр, а припорхнула ко мне опоздавшей телеграммой, уже в самый день ланча, 11 мая.

Приглашение же на ланч в конце концов пришло... в виде картонки входного билета, без единого пояснительного слова.

Но каким же путём послать Президенту моё отказное письмо [4]? Хотелось, чтоб он получил и прочёл его — первым, а не из рук своих чиновников. Воспользовались любезным посредничеством Эдварда Б. Вильямса, имеющего доступ в Белый дом, — и он успел и передать письмо, и объяснить Президенту, как низко его разыграл Пайпс. И 7 мая позвонил нам: что Президент «всё понял» и «не обиделся». Вот и слава Богу.

У нас — большое облегчение.

Но не то — в Белом доме.

Если б сами они не дали утечки, что Солженицын ожидается у Президента, — то сейчас тихо замяли бы, и всё. А теперь — должны как-то объяснять мой неприезд? И — в самые короткие дни.

Телефонные судорожные согласования достигли нас. Сперва — Белый дом предлагает свою формулировку для прессы: «Солженицыну не позволило приехать его расписание».

Мы — отклонили.

Вослед — рано-рано утром 10-го, уже накануне ланча, — Вильямс передаёт, от главного президентского советника и друга, настойчиво: передумайте! приезжайте!

Нет, невозможно.

Посреди дня — с новой формулировкой: «Сейчас не смог принять приглашение, но Президент ждёт встречи с Солженицыным позднее».

Согласились.

Но сомнительно, чтобы Пайпс пропустил в прессу такое.

И в самом деле, днём 10-го, уже зная мой отказ, Пайпс вилял в ГосДепе, что Солженицын завтра приедет. А затем решили, вероятно, вовсе не давать официального разъяснения от Белого дома, лишь пустить «утечку».

И по той же схеме — к Кайзеру, а тот — в «Вашингтон пост» — представили такой жалкий выверт: «Солженицын недоволен, что пресса узнала о приглашении в Белый дом раньше него». Маловато, не тянет. Тогда — ещё огрызок: нашёл неуместным причисление его к диссидентам.

Это — вместо всей содержательности моих доводов.

Тем *вынуждали* нас — огласить суть дела, то есть полное письмо.

Мы решили: достойно будет напечатать только в скромной вермонтской газете, а дальше — заметят, не заметят, — ничего не предлагать нарасхват прессе и агентствам.

И — что ж? У вермонтской газеты переняли многие крупные американские. (Столичная кайзеровская, в буднем выпуске, текст и тут, конечно, изрезала и искажила, — но независимая редакция воскресного выпуска «Вашингтон пост» поместила письмо полностью.)

Так окончилась эта навязанная нам больше чем на месяц побочная нервотрепка. А устройщики выиграли не много: Рейган уже не мог отменить ланча, но спустил его на самый нижний регистр — пришёл без главного советника, не произнёс подготовленной речи, и гости не произносили, не было вожделенной телевизионной съёмки, не было пресс-конференции.

Кипели режиссёры и участники, что я не приехал и всё им испортил, — уж как кипели. Вот странно: если они, как уверяют, за «права человека» и против навязывания воли другому, — так вот я и осуществил самое скромное из прав человека: не поехать по приглашению на завтрак. Откуда ж этот гнев и этот коллективный диктат: «ты должен был!» И диссидент Любарский пишет задыхательную отповедь (и снова пропорция неуверенности: в три раза длинней, чем моё письмо Президенту): и «облыгаю страну, давшую приют», и «забыл Архипелаг Гулаг (это я-то!), и неблагородно отношусь к соотечественникам, и не имею права определять, что является и не является «русским», — а Любарский будет определять? Уже протянули руки к возжам гоголевской Тройки?

Подпортил им и генерал Григоренко, бывший среди них на том завтраке: написал письмо Президенту, что испытывает глубокое чувство вины, что по-

трясён «хитрыми и грязными шагами» организаторов, подменивших встречу Президента со мной, и считает мой неприяезд правильным.

(Но — подхвачено было Советами: «принимаемый в Белом доме как желанный гость Солженицын», — а поправки, конечно, не будет, и кто, когда разберётся? ложь присыхает на десятки лет. — Я укорил Рейгана американскими генералами, метящими в случае атомной войны уничтожить избирательно русских, — и в тех же именно днях, на парадной первомайской странице «Советской России» — наверху во всю ширь все вожди на мавзолейской трибуне, внизу — подвал какого-то поэта служающего, Виталия Коротича*, в жанре *травли с подлогом*: «г-н Солженицын, выдворенный из Советской страны... публикует фразу, обращённую к нам с вами: „Подождите, гады! Будет на вас Трумэн! Бросят вам атомную бомбу на голову!“» — И откуда ж моим соотечественникам знать, что это — сцена из «Архипелага», часть V, глава 2, — это летом 1950 на пересылке в Омске зэки кричат вертухаям, когда их, «распаренное, испотевшее мясо, месили и впихивали в воронок», и жизнь им «была уже не в жизнь... не жаль было и самим сгореть под одной бомбой с палачами». — И этот яд разливается в Советском Союзе по миллионам мозгов: Солженицын призывает сбросить на нашу страну атомную бомбу! И когда ж ещё через эти новые глыбы лжи перебираться?)

А в общем-то Пайпс своего добился: нашу встречу с Рейганом — расстроил, и ставил себе это в заслугу.

Мы — опять на чужой территории. Мы опять в чужих руках.

В прошлом году исполнилось 5 лет нашей жизни в Штатах — и мы получили право на американское гражданство. У нас ведь и никакого нет, беспаспортные. Но, решили с Алей, — не будем брать. Мы чужбинничаем тут с горя, нам тут только до времени перебыть.

А с другой стороны: если не берёшь, остаёшься *ничей*, — то, как бы, выходит, хранишь верность Советскому Союзу? ведь гражданства *российского* у нас и не бывало. И: в наступившей шаткой мировой обстановке жить вовсе без гражданства — беззащитно.

Нет, пока решили всё же не брать.

Предложил французский «Экспресс» печатать у него актуальные статьи — я согласился: во Франции — мой голос заметен. Перепечатавали эти статьи по другим европейским странам — а Штаты и не шелохнулись: они признают только себя центром мира, и только для них и от них должно быть произнесено. Вот опубликованы мои «Танки» — где? во Франции. (И пишут французские критики: это так написано, что уже и видно, хоть не снимай.) Вышел «Круг»-96 — во Франции, даже в Германии, а в Штатах, из-за которых и старался Иннокентий, губил свою жизнь, — нет.

Ощущая себя на чужбине, нельзя отогнать и тревожных мыслей о завещании: при внезапной смерти, а мне 63 года, — кто будет распоряжаться всеми моими оконченными и неоконченными произведениями? кому достанутся мои архивы?

Кажется, спокойно: Але конечно, она на 20 лет моложе меня, и лучше неё никто не разбирается в моём литературном деле. Но вот — только что, в марте, — замечаю у неё подозрительное тёмное пятнышко у виска, и растёт. А у меня от раковых моих времён глаз намётанный: точный цвет меланомы! Да можно сгореть в короткие месяцы! Уговариваю Алю ехать к врачу (про меланому — не говорю), — «да это ерунда!», ни в какую. Всё ж настоял, поехала. Разумеется, тотчас взяли биопсию. Дни ожидания. Доброкачественная, слава Богу. И вырезали.

Но так вот — и живи, надейся. А дети малые? Конечно, случись такое — есть бабушка, есть верные русские друзья. Но сколько ещё у сыновей впереди

* «Советская Россия», 1982, 2 мая, стр. 1. — Коротич Виталий. Свет и надежда планеты.

лет юридической неправопособности — и что тогда с литературным наследством? — по законам штата Вермонт перейдёт под опеку штатных вермонтских властей... То-то нараспорядятся...

Научит горюна чужая сторона...

Этой весной напомнила мне Би-би-си, что осенью исполняется 20 лет от напечатания «Ивана Денисовича», и предложила полностью записать в моём чтении текст для передачи в Россию. Отлично! Я охотно согласился. И вот сейчас, в первые дни июня, приехал заведующий русской секцией Барри Холланд, записывали мы полный текст и интервью*.

И в тексте «Ивана Денисовича», произнося его для России, я почувствовал вневременную поддержку — нечто начавшееся ранее меня, и весь изойденный путь, и уходящее далеко вперёд за край моей жизни. Уверенней почувствовал себя звеном неистребимого длительного русского хода.

И о Твардовском сказал в интервью то, что вот только-только сейчас записал в этих главах.

Раскладывая: не пора ли в азиатское путешествие? Это путешествие задумано мною уже года два — как ожидаемый перерыв между Узлами. Из-за того что я впервые за шесть лет куда-то еду — решил и написать это дополнение к «Зёрнышку» сейчас: там ещё буду ли жив, а на всякий случай объяснить. Перед каждым новым шагом хочется подвести черту прежнему.

Сперва это путешествие задумывалось просто как разминка: всё сижу-пишу, сижу-пишу, — и это имея свободу движения по всему земному шару! — да хоть закончив «Март» съездить куда-то. Хотя никакого однообразия в нашей вермонтской жизни я не ощущаю и без стеснения чувств готов жить тут до, надеюсь, возврата в Россию, — всё же перерыв в работе располагает ввести в жизнь и что-то непредвиденное, незнаемое, новую полосу зрения. А куда? — не по Америке и не по Европе, уже ездил. Тут — вечный русский интерес к странам дальней Азии.

Но стал я понимать: это не прогулка будет, нет. В Японии, в Корее и на Тайване меня переводят, читают и знают. И там — не избежать острых вопросов. Южнокорейское Культурное общество усиленно и звало меня к публичным выступлениям. (И вот уж где газетчики не возьмутся перепыхивать меня на «фифти-фифти».)

Долго обдумывал: а четыре курильских острова? Промолчать, наверно, не придётся. Стал изучать историю вопроса. Отдать — будет по полной справедливости. Старая Россия никогда на них не претендовала — ни капитан Головин в начале XIX века, ни адмирал Путятин в середине его. А сейчас японцы только и настаивают всего лишь на этих четырёх островках — и готовы на дружбу. И так можно снять их память о Южном Сахалине. Так и ответить: на этом вы и можете видеть разницу между старой Россией и новым Советским Союзом, острова — это тоже часть коммунистической проблемы. Хорошо бы даже попытаться содействовать атмосфере русско-японской дружбы, сколь это доступно моим силам.

А Тайвань — это будут впечатления чисто китайские, как побывать бы в самом Китае, а уж добавить наслы коммунизма — это мне легко умозрительно. Тайвань — это опорная точка моей страсти, это наш несостоявшийся врангелевский Крым.

*Вермонт
Весна 1982*

* «Публицистика», т. 3, стр. 21 — 30

ПРИЛОЖЕНИЕ

[1]

СТЫДНО!

Письмо в Самиздат

Апрель 1979

Тот вихрь недовольства, подозрений, обвинений, угроз, вымоганий, какой закрутился вокруг Русского Общественного Фонда, и главным образом в наименее бедствующей столице, — это наш позор. Никогда в прежней России дело милосердия, тогда широко разлитое, не подвергалось и сравнительно таким насокам зависти, жадности и недоверия. Я не имею в виду прямых вымогателей и подосланных от ГБ. Я, разумеется, не принимаю в счёт Роя Медведева, который то и дело догадливо выпереживается перед властью. Но клевета распространяется в живой человеческой среде, а не получает достойного ответа, даже и от тех, кто принимал помощь Фонда. А многих угнетает, должно быть, привычка советских десятилетий: всегда быть обойденным и всегда обманутым. И уже легче поддаться, чем поверить, что на этот раз обмана нет.

Но ведь работа Фонда — уникальна, почти чудесна в советских условиях, происходит под невыносимым гнѐтом, в государственной травле, её первый самоотверженный бесстрашный организатор — уже в тюрьме. Неужели же ещё «диссидентскую» клевету надо добавить к усилиям КГБ? Если и сами такие — то что же всё валить на режим? И какое у нас будущее?

Я хорошо знаю принципы распределения помощи Фонда и одобряю их. Помощь ведётся нелицеприятно. Когда позволят условия на нашей Родине — вся его деятельность в цифрах и фактах будет опубликована. Я призываю: не позорить этими тёмными клубами наше пробуждение и тот многократно вымерший Архипелаг, из могильника которого вырос росток Фонда.

Александр Солженицын.

[2]

ПИСЬМО ПРЕЗИДЕНТУ КАРТЕРУ

Кавендиш, Вермонт
4 июня 1979

Господин Президент!

Выдающийся сын русского народа Игорь Огурцов, искавший христианских путей развития России, уже 13-й год непрерывно находится в жестоком заключении, при безжалостном режиме, — и ещё 8 лет нависают над ним, которых ему не пережить. У него опала печень, опустился желудок, в 42 года вылезают волосы, выпадают зубы. Сегодняшняя ситуация даёт Вам редкую возможность освободить хоть несколько человек из безнадежного долгого сидения. От себя и от русского народа я с волнением прошу Вас помочь вызволить Огурцова для лечения и спасения.

Александр Солженицын.

[3]

ПРИМЕЧАНИЕ ОБ О. КАРЛАЙЛ
К АМЕРИКАНСКОМУ ИЗДАНИЮ «ТЕЛѐНКА»

Я не предполагал расшифровывать имѐн, но Ольга Карлайл поспешила сделать это сама. Так всегда и бывает: не те ищут славы, кто делает главные дела. Все те

самоотверженные западные люди, кто существенно помогли в моей борьбе, обеспечили весь поток публикаций на Западе, а затем вослед моей высылке тайно вывезли мой большой архив, — те скромно молчат посегодняя. Им посвящён большой, уже написанный раздел этой книги — но не пришло время его печатать. Роль же Карлайл в судьбе моих произведений я вижу последовательно отрицательной. Стечением обстоятельств, — по доверию к семье Андреевых, из которой она происходит, не по знанию её самой, — ей были доверчиво переданы уже вывезенные из СССР тексты «Круга Первого» и «Архипелага», сама она не рисковала ничем ни одну минуту. Американский перевод произвольно редактировал муж, Генри Карлайл, совсем не знающий русского языка, — и оказалась необходимой значительная дальнейшая редакционная работа. Английское издательство отказалось от этого перевода. Остальные переводы «Круга» Карлайл допустила производить небрежно, многие оказались плохи, особенно французский. На этом и закончились труды Ольги Карлайл, которые, как она уверяет теперь, отняли у неё шесть лет жизни, «масса риска», нарушили её журналистическую карьеру, жизнь свободной художницы, — по каким причинам, вероятно, она и оценила услуги, расходы, жертвы, потери, бессонные ночи свои, своего мужа и своего адвоката — около половины гонораров от мировой продажи романа за то время, пока она им управляла. А всю нашу борьбу, описанную в этой книге, она называет «итальянской оперой» и миром мелких интриг. Её поведение, стиль отношений резко противоречили всем нашим представлениям в эти годы борьбы. Весной 1970 мне было передано в СССР от Ольги Карлайл через посредника, что американский перевод «Архипелага Гулага» окончен и готов к публикации. Это давало мне ложную уверенность, что в острый момент «Гулаг» может быстро появиться на самом читаемом в мире языке. На самом деле, этот перевод не был готов даже и в 1973, когда грянул удар по русской рукописи. Так и вышло англоязычное издание позже всех других.

[4]

ПИСЬМО ПРЕЗИДЕНТУ РЕЙГАНУ

Кавендиш, 3 мая 1982

Дорогой господин Президент!

Я восхищаюсь многими аспектами Вашей деятельности, радуюсь за Америку, что у неё наконец такой Президент, не перестаю благодарить Бога, что Вы не убиты злодейскими пулями.

Однако я никогда не добивался чести быть принятым в Белом доме — ни при Президенте Форде (этот вопрос возник у них без моего участия), ни позже. За последние месяцы несколькими путями ко мне приходили косвенные запросы, при каких обстоятельствах я готов был бы принять приглашение посетить Белый дом. Я всегда отвечал: я готов приехать для существенной беседы с Вами, в обстановке, дающей возможность серьёзного эффективного разговора, — но не для внешней церемонии. Я не располагаю жизненным временем для символических встреч.

Однако мне была объявлена (телефонным звонком советника Пайпса) не личная встреча с Вами, а ланч с участием эмигрантских политиков. Из тех же источников пресса огласила, что речь идёт о ланче «для советских диссидентов». Но ни к тем, ни к другим писатель-художник по русским понятиям не принадлежит. Я не могу дать себя поставить в ложный ряд. К тому же факт, форма и дата приёма были установлены и переданы в печать прежде, чем сообщены мне. Я и до сегодняшнего дня не получил никаких разъяснений, ни даже имён лиц, среди которых приглашён на 11 мая.

Ещё хуже, что в прессе оглашены также и варианты и колебания Белого дома, и публично названа, а Белым домом не опровергнута формулировка причины, по которой отдельная встреча со мной сочтена нежелательной: что я являюсь «символом крайнего русского национализма». Эта формулировка оскорбительна для моих соотечественников, страданиям которых я посвятил всю мою писательскую жизнь.

Я — вообще не «националист», а патриот. То есть я люблю своё отечество — и оттого хорошо понимаю, что и другие также любят своё. Я не раз выражал публично, что жизненные интересы народов СССР требуют немедленного прекращения всех планетарных советских захватов. Если бы в СССР пришли к власти люди, думающие сходно со мною, — их первым действием было бы уйти из Центральной Америки, из Африки, из Азии, из Восточной Европы, оставив все эти народы их собственной вольной судьбе. Их вторым шагом было бы прекратить убийственную гонку вооружений, но направить силы страны на лечение внутренних, уже почти вековых, ран уже почти умирающего населения. И уж конечно открыли бы выходные ворота тем, кто хочет эмигрировать из нашей неудачливой страны.

Но удивительно: всё это — не устраивает Ваших близких советников! Они хотят — чего-то другого. Эту программу они называют «крайним русским национализмом», а некоторые американские генералы предлагают уничтожить атомным ударом — избирательно русское население. Странно: сегодня в мире русское национальное самосознание внушает наибольший страх: правителям СССР — и Вашему окружению. Здесь проявляется то враждебное отношение к России как таковой, стране и народу, вне государственных форм, которое характерно для значительной части американского образованного общества, американских финансовых кругов и, увы, даже Ваших советников. Настроение это губительно для будущего обоих наших народов.

Господин Президент. Мне тяжело писать это письмо. Но я думаю, что если бы где-нибудь встречу с Вами сочли бы нежелательной по той причине, что Вы — патриот Америки, — Вы бы тоже были оскорблены.

Когда Вы уже не будете Президентом, если Вам придется быть в Вермонте — я сердечно буду рад встретить Вас у себя.

Так как весь этот эпизод уже получил искажительное гласное толкование и весьма вероятно, что мотивы моего неприяда также будут искажены, — боюсь, что я буду вынужден опубликовать это письмо, простите.

С искренним уважением

А. Солженицын.

(Публикация глав будет продолжена.)

